

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
М Е М У А Р Ы

Генрих фон Айнзидель

ДНЕВНИК ПЛЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЛЕТЧИКА



СРАЖАЯСЬ НА СТОРОНЕ ВРАГА

1942–1948

За линией фронта. Мемуары

Генрих Айнзидель

**Дневник пленного немецкого
летчика. Сражаясь на
стороне врага. 1942-1948**

«Центрполиграф»

2012

Айнзидель Г. ф.

Дневник пленного немецкого летчика. Сражаясь на стороне врага. 1942-1948 / Г. ф. Айнзидель — «Центрполиграф», 2012 — (За линией фронта. Мемуары)

ISBN 978-5-9524-5004-2

В августе 1942 года на подбитом в бою над Сталинградом «Мессершмитте» пилот-истребитель Генрих Айнзидель совершил вынужденную посадку и сразу же был взят в плен советскими летчиками. С этого момента для него началась другая жизнь, в которой ему пришлось решать, на чьей стороне сражаться. И прежде Айнзидель задумывался, куда приведет их страну война с СССР, теперь же у него не оставалось сомнений в том, что Германия стоит на пороге краха. Итогом этих размышлений явилась его активная антифашистская деятельность и участие в создании комитета «Свободная Германия». Граф фон Айнзидель был убежден: только немедленный мир без Гитлера может спасти его родину от полного разрушения. Книга снабжена картами.

ISBN 978-5-9524-5004-2

© Айнзидель Г. ф., 2012

© Центрполиграф, 2012

Содержание

Предисловие	5
Глава 1 Военнопленный	7
Глава 2 Антифашисты	28
Глава 3 Национальный комитет	37
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Генрих фон Айнзидель

Дневник пленного немецкого летчика.

Сражаясь на стороне врага. 1942—1948

Предисловие

В 1947 году, когда меня освободили из лагеря для военнопленных в России, мне пришлось встретиться со многими людьми из всех земель Германии, которые хотели бы, чтобы я поделился своими воспоминаниями о тех событиях. Немцы, французы, американцы, русские, коммунисты и антикоммунисты, преподаватели и рабочие, друзья и враги – все задавали так много вопросов, что я никогда не имел возможности полностью на них ответить. Я рассказываю здесь свою историю, объясняю и комментирую произошедшее так, как понимал в то время.

Я хотел бы изложить факты таким образом, будто веду беседу с людьми, на чье дружеское внимание и справедливый суд я мог бы рассчитывать, даже несмотря на то, что кое-что здесь совсем не льстит мне или моему читателю. Это оказалось гораздо сложнее, чем я сначала рассчитывал. Так, я был уверен, что рассказал о некоторых вещах максимально откровенно, однако, перечитав конкретный отрывок через несколько дней, понимал, что все здесь нужно менять. Кроме того, я все больше и больше отходил от восприятия окружающего мира с той позиции, которую я выбрал с самого начала: глазами редактора коммунистической газеты Tagliche Rundschau, издаваемой в Восточном Берлине, и члена СЕПГ. Я немедленно прекратил писать, как только наконец полностью осознал, что никогда уже не смогу изложить события с этой точки зрения, проживая здесь, в данном психологическом климате.

И все же попытка что-то написать помогла мне лучше увидеть перспективу и восстановить свои навыки рассуждать, которые за последние годы постепенно размывались. С тех пор, как я посещал антифашистскую школу в Москве летом 1944 года, я пытался достичь невозможного: быть коммунистом, в то же время сохраняя внутреннюю свободу. В те дни в школе в качестве побочного фактора, вызванного чрезвычайными обстоятельствами, в которых мы оказались, или, по крайней мере, испытания, через которое мы должны были пройти, если хотели войти в ряды передовых бойцов революции на равных правах и с соблюдением независимости в оценках, я предпринял попытку преодолеть в себе и в моих товарищах собственную психологическую, моральную и интеллектуальную основу. Я бы ни за что не стал пытаться разрушать то внутреннее сопротивление, если бы уже тогда понимал, что ломка жизненных основ является одним из основополагающих принципов той международной террористической группы, что называет себя коммунистической партией. Я не стал предпринимать бесполезную попытку бунта, но в то же время никогда и не сдавался. Но тогда у меня совсем не было желания заниматься прорицанием, так как понимание вовсе не обязательно несет с собой мгновенный отказ от всего того, с чем связывались надежды. Коммунистическая партия призвана быть одновременно школой, церковью, казармой и семьей для человека, волею случая ставшего мимолетной жертвой бессмысленных, беспощадных и страшных внешних событий. Как недавно заявил один из наиболее известных бывших коммунистов, Игнацио Силоне: «Это тоталитарный институт в полном и чистом смысле этого слова... и он стремится полностью подчинить себе всех, кто встанет под его знамена. В результате настоящий коммунист, который, как по мановению чуда, сохраняет в себе всю естественную силу своей натуры, которую он использует в интересах партии (с самыми добрыми намерениями, поскольку он искренне желает помочь партии), готовит себе жестокую и полную противоречий судьбу неверующего. И еще до того, как он окончательно подчиняет себя этому делу и произносит торжественную

клятву, он уже находится в духовных тисках. Та медленная неотвратимость, с которой правый коммунист осознает всю глубину своего заблуждения, является очень важным понятием, которое пока еще не было достаточно изучено».

Когда в 1949 году, после разрыва с коммунистами, вернулся к работе над рукописью, я намеревался на собственном примере проиллюстрировать ту эволюцию психики, о которой говорил Силоне.

Я не пытался написать историю возникновения и работы Национального комитета «Свободная Германия». Мое отношение к этому по-своему феноменальному институту чрезвычайно субъективно, но надеюсь, что именно по этой причине мой труд мог бы оказать неоценимую помощь беспристрастному историку.

Я никогда не думал о том, чтобы написать книгу, где оправдываю свое поведение в плену. Я отдаю дань искреннего уважения любому из тех, кто убежден, что при сходных обстоятельствах вел бы себя более честно, достойно и правильно, чем я. Голос, который в 1943 году крикнул Ульбрихту на собрании в лагере военнопленных: «Даже если нас останется всего двенадцать миллионов, мы будем продолжать биться до победы!» – можно было бы привести в качестве одного из многих примеров демонстрации (но не доказательства) смелости, но также и того безответственного отношения, которое позволило разрушить Европу и открыть путь в Германию «красному фашизму». Такое поведение меньше всего помогало облегчить участь военнопленных в Советском Союзе.

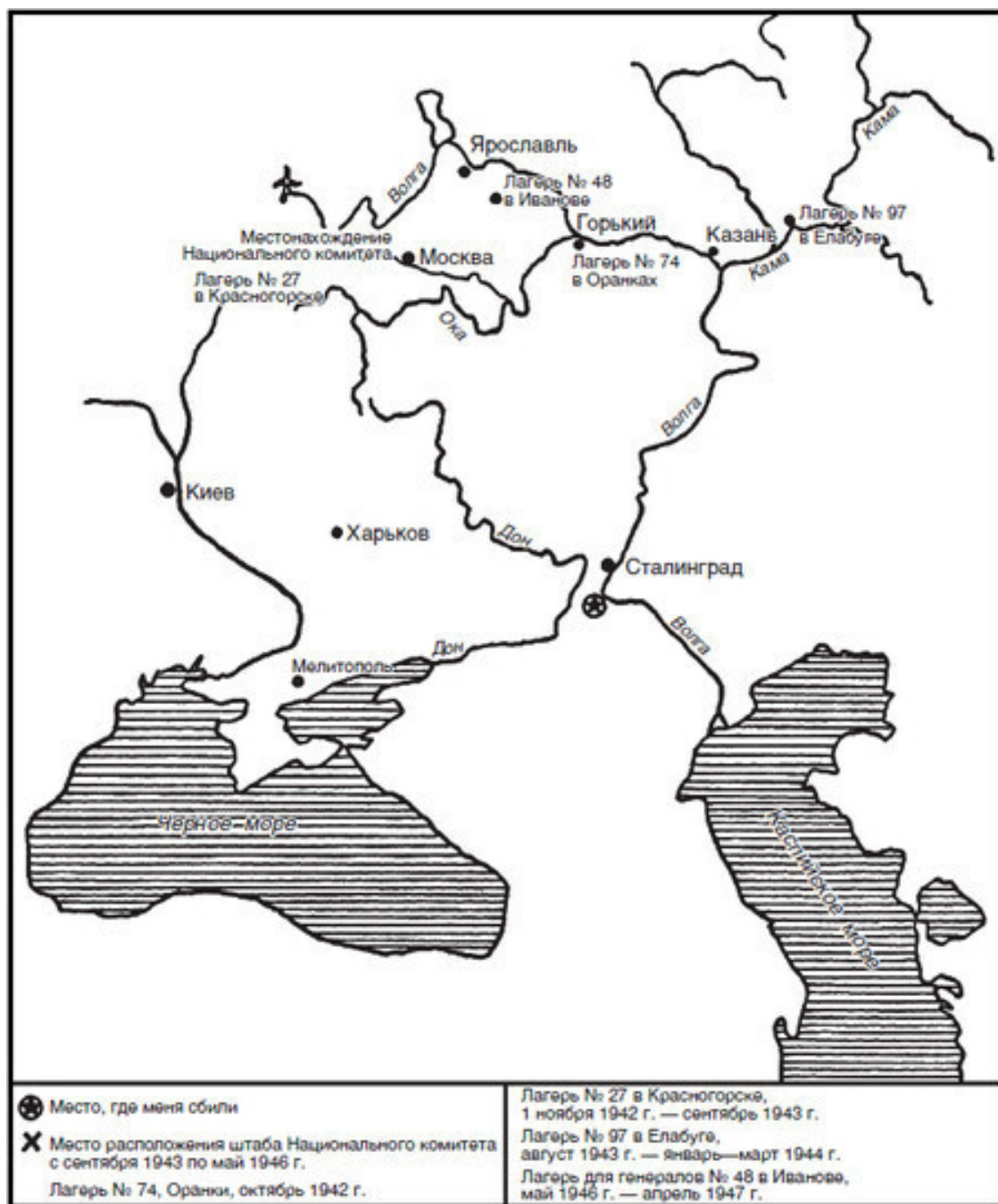
Для тех, кто пытается найти виновных в той ужасной судьбе, что постигла немецких военнопленных в Советском Союзе, в моей книге также найдется немало интересной информации. И если она поможет людям, готовым с готовностью бросаться обвинениями «предатель» или «приспособленец», хотя бы попытаться честно признать свои собственные прошлые ошибки, то она уже достигла своей цели.

Глава 1 Военнопленный

24 августа 1942 г.

Воды Дона и Волги отражают небо необычно знойного дня. Над степью лежит невесомый туман, и я кружу над всем этим на своем «Мессершмитте-109». Глаза внимательно обшаривают горизонт, который постепенно исчезает в легкой дымке. Небо, степь, реки и море, которое должно быть где-то там, дальше, – все это существует здесь уже веками. На несколько секунд я полностью отдался победному чувству полета, ощутив отравляющий дух свободы, скорости и мощи машины. Но сегодня у меня не было времени на мечты. Внизу подо мной раскинулся Сталинград, и день 24 августа, когда началась та битва (Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. – *Ред.*), был кульминацией нашего летнего наступления.

Далеко внизу, где люди были похожи на построившихся в линии муравьев, я различал батальоны, полки, дивизии, колонны машин и танков: немецкие войска продвигались к Волге, русские танки контратаковали на обоих флангах (14-й танковый корпус немцев прорвался к Волге севернее Сталинграда 23 августа. – *Ред.*). Неожиданно раздавшийся в наушниках голос вернул меня в реальность: «Айнзидель! Над Питомником!» Русские вышли в хвост нашим «Штукам» (пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87», за неубирающиеся шасси с характерными обтекателями получил прозвище (у советских солдат) «лаптежник». – *Ред.*). Два «Мессершмитта», как метеоры, сверкнули в небе и обрушились на землю. Пространство, которое всего мгновение назад казалось бесконечным, вдруг съежилось.



Лагеря военнопленных

С земли повалил густой маслянистый дым. Наши самолеты, как подводные лодки, погрузились на пятючок пространства площадью всего несколько квадратных километров, где кипел яростный бой между русскими и немцами.

Вчера (23 августа), когда немецкие воздушные эскадры обрушили свой первый дневной массированный удар на Сталинград, над городом не было ни одного русского самолета. В районе Сталинграда русские могли выставить до двадцати своих истребителей на каждую немецкую машину, и все-таки город оставался беззащитным перед разрушением с воздуха. (Автор неточен. 23 августа во второй половине дня несколько сот немецких самолетов произвели до наступления темноты 2 тысячи самолето-вылетов, разрушая город и устрашая население. Погибло около 40 тыс. чел. гражданского населения. Налеты отражали 105 советских истре-

бителей. В воздушных боях и огнем зениток было сбито, по советским данным, 120 вражеских самолетов. Общее же число самолетов Красной армии в районе Сталинграда было вдвое меньшим, чем у немцев. – *Ред.*) Но теперь русское командование поняло, что происходит. Немецкое наступление началось в ранние утренние часы. И ни удары масс советских танков (немцы в разы превосходили советские войска. – *Ред.*) с севера, ни отчаянные танковые же вылазки неподготовленных, плохо управляемых рабочих полков из самого Сталинграда не могли его остановить. В этот момент Советы бросили в бой все имеющиеся у них боевые самолеты, и разгорелось воздушное сражение, по накалу с которым могли бы сравниться разве что бои на Западе, над Ла-Маншем. Каждая немецкая «Штука», каждый боевой самолет были окружены целым роем русских истребителей, которые сгрудились в тесном строю за собственными советскими штурмовиками.

Мы попали в ту суматошную схватку как нельзя вовремя. На пути мне попался русский истребитель «Рата» («Крыса» – так немцы называли еще в ходе боев в Испании истребитель И-16, в 1941–1942 гг. устаревший и тихоходный (470 км/ч) против 560 км/ч у Me-109E и 630 км/ч у Me-109F. – *Ред.*) с двумя звездами на крыльях. Русский летчик увидел меня, ушел в переднее пики и попытался выйти из боя, пройдя на низкой высоте. Похоже, что им овладел страх. Он летел на высоте двух метров над поверхностью земли по прямой линии и даже не думал защищаться. Моя машина дрогнула от отдачи после пулеметной очереди. Из бензобака русского истребителя взвился столб дыма; через несколько мгновений машина взорвалась и перевернулась на земле. За ней потянулся длинный след выжженной огнем степи.

Я развернулся и полетел обратно к Сталинграду. Вдруг я увидел, как в нескольких сотнях метрах левее русские штурмовики атакуют с низкой высоты немецкие танки. В 400 или 500 метрах за ними следовали истребители сопровождения. То, что я сделал, увидев все это, было чистым безумием: я спикировал под самым носом у вражеских истребителей, произведя тем самым обмен высоты на скорость. Меня подстегивал азарт, я совершенно не боялся. По крутой траектории я пристроился в хвост Ил-2. Передо мной мелькнул силуэт русского самолета. Первые разрывы моих же попаданий ослепили меня: из двигателя моего противника брызнуло горячее масло, которое тонкой струйкой потекло от одного края моей машины к другому. Теперь мне ничего не было видно из кабины. Я попытался промыть стекло омывателем. То слабое мерцание, которого я смог в результате добиться, позволило мне пролететь над немецким танком и отвернуть от горящего Ил-2. Но мне пришлось отвлечь внимание на две-три секунды, и, когда я снова посмотрел в сторону русских истребителей, я увидел, как в каких-то 100 метрах позади меня их пушки выплевывают в мою сторону языки пламени. Что-то громко взорвалось, а потом я почувствовал тупой удар в ногу. Я вцепился в ручку управления своего «Мессершмитта» и заставил его резко взмыть вверх. Русский был потрясен таким маневром. Я снова ринулся в атаку, до русского снова было 90, 80, 60, 40 метров, но мои пушки молчали. Русский вывел из строя электрооборудование на моем самолете. Я повернул на запад и стал тянуть к Дону, к линии наступающих немецких войск. Линия фронта? Я увидел перед собой лишь широкую песчаную полосу над вытоптанной степной травой. Впереди не было никаких признаков присутствия человека. Но ведь здесь обязательно должны были пройти колонны снабжения наших войск. Вдруг по моему самолету заработал пулемет.

Рядом, на пулеметной позиции, сустились фигурки в коричневом. Все теперь было понятно: немецкие танки еще не успели выйти к Волге или их просто отбросили оттуда. (Уже упоминалось выше: немцы (14-й танковый корпус) вышли к Волге 23 августа севернее Сталинграда. – *Ред.*)

В моей палатке на краю летного поля доктор вынул из моего тела добрый десяток осколков разрывных пуль. Продолжая неторопливо работать, он одновременно выслушивал мой рассказ.

– Да, – кивнул он, – наши танки оттеснили от Волги; это были просто тыловые колонны, которые сопровождали несколько танков. Я покажу тебе схему того боя, там же есть последние данные о положении на фронте. На юге практически ничего не изменилось. Мы пока не взяли высоты Сарепта. До Волги по-прежнему остается примерно сорок километров.

– А как идут дела на Кавказе?

– Там тоже мы практически не смогли продвинуться. Русские стали сопротивляться гораздо отчаяннее, чем раньше. Части люфтваффе также получили усиление.

– Похоже, на этот раз зима для русских начнется в августе!

– Не торопись! – улыбнулся доктор. – Одна из наших ударных армий уже отправилась на Ленинград (имеется в виду 11-я армия фельдмаршала Манштейна, которая после взятия Севастополя, отдыха и пополнения (потери были тяжелыми) была отправлена под Ленинград. – *Ред.*). После взятия Сталинграда и Баку придет очередь Ленинграда. Мы отправляем туда весь 8-й воздушный корпус.

– И что, передовые части уже ушли?

– Что ты хочешь сказать этим «уже»?

– Ну, я думаю, что до весны еще много времени, а до этого, скорее всего, у нас не будет шансов.

Доктор разозлился:

– Не начинай все это снова! Ради бога, ну почему ты такой пессимист?

Он отложил в сторону ножницы и пинцет и постучал пальцем мне в грудь.

– Парень, счет в этой войне один – ноль в нашу пользу. Мы не можем проиграть, в самом худшем случае это будет ничья.

– Ты имеешь в виду ничью с точки зрения постороннего арбитра? Как это тебе удалось рассчитать? Или тебе прислали весточку из Владивостока с танковой колонной?

– Остановись. Ты устал. Прежде всего, я запрещаю тебе летать в течение недели. После того как с тобой и твоей машиной все будет в порядке, мы поговорим. А сейчас тебе нужен хороший сон!

28 августа 1942 г.

Сегодня я снова летал. Моя нога все еще в повязке, но она уже не болит. Дело шло к вечеру, и, когда мы на высоте примерно пять с половиной километров летели над Доном в районе Калача по направлению к Сталинграду, солнце светило нам в спину. В 60 метрах от меня вел свою машину молоденький унтер-офицер. Он только сегодня утром прибыл из Германии, и его глаза ярко горели энтузиазмом, когда ему в тот же день позволили совершить свой первый полет над территорией противника. Примерно на полпути к цели навстречу нам устремился русский истребитель, который летел на несколько сот метров выше нас. Он снизился позади нас и бросился в атаку. Мне редко приходилось видеть, чтобы русские истребители сами первыми атаковали нас. Тем более необычным было то, что это сделал один-единственный самолет. Пока мы круто поднимались вверх, чтобы занять позицию для атаки между противником и солнцем, я оглядывался вокруг в поисках его товарищей, но никого так и не увидел. Судя по тому, как бедняга неуклюже на медленной скорости стал карабкаться за нами, набирая высоту, у него совсем не было боевого опыта.

– Подожди-подожди, – пробормотал я про себя, – через несколько секунд ты уже зависишь на своем парашюте, да и то только в том случае, если тебе повезет.

На таких высотах мы намного превосходили русских как в скорости, так и в маневре на вертикалях.

Но, как оказалось, я совсем недооценил того пилота. Этот парень, которому удалось ускользнуть после всех моих атак с помощью ни с чем не сравнимых акробатических приемов, который дважды или даже трижды умудрялся заходить мне прямо в лоб, так что нам приходилось молнией проскакивать друг мимо друга на расстоянии вытянутой руки и на скорости тысячи километров в час, явно был не новичком, а тертым калачом, который использовал свои знания и опыт с чувством спокойного превосходства.

В течение нескольких минут мы кружили друг около друга безрезультатно. Перехватив ручку управления обеими руками, я старался заставить свой «Мессершмитт» делать все более узкие круги, повторяя фигуры русского, который тот выписывал без всякого труда. Вновь и вновь под влиянием перегрузки кровь отливала у меня от головы, и я на мгновение терял сознание. И вот наконец я поймал его. Русский сделал отрыв слишком поздно и на мгновение оказался на линии моего прицела, всего в 20 метрах впереди меня. Зажигательные пули прошли его машину, и его самолет, перевернувшись вокруг своей оси, стал падать. Но русский снова обманывал меня. Снизившись на три километра, он попытался уйти на низкой высоте в сторону Сталинграда. Мы настигли его на скорости 600 километров в час и открыли по нему плотный огонь из наших пушек. Я предоставил возможность атаковать своему подчиненному унтер-офицеру. Он бросился на русского, как гончая на добычу, но промахнулся мимо самолета противника, который пытался уйти по широкой дуге, и вдруг оказался прямо перед носом кабины вражеской машины. Русский мгновенно увидел свой шанс. Он бросился за моим напарником, выстрелил и тут же сам стал жертвой моей последней внезапно оборвавшейся очереди. Его самолет будто притормозил в воздухе, упал, ударился о землю и взорвался.

Это был мой четвертый бой в тот день, который продолжался примерно десять минут. Я чувствовал резь в глазах, голова болела, ворот рубашки врезался в шею. С меня было довольно, я хотел домой. Но только теперь я вдруг заметил, почему русский решил пожертвовать собой. Примерно тридцать вражеских бомбардировщиков и шестьдесят истребителей уже находились в небе над Калачом; они собирались атаковать нашу базу. До нее им оставалось не более десяти минут полета. Когда мы вылетали с аэродрома базирования, на нем ровными рядами в тесном порядке выстроились примерно сорок самолетов Ju-52 («Юнкерс-52»), львиная доля нашей транспортной авиации, снабжавшей армию в районе Сталинграда. Достаточно было одной бомбе попасть между ними, и несколько наших дивизий лишатся средств тыловой поддержки. Где-то в течение четырех-пяти минут я выжимал из своей машины все, что мог, чтобы вклиниться в русский строй. Я немедленно отправлял по радио сигналы тревоги: «Внимание! Массированная атака на Тусов, массированная атака на Тусов! Всем самолетам покинуть аэродром!» Мне было уже видно, как, поднимая над Доном клубы пыли, взмывают в воздух «Мессершмитты». Мы бросились в самую гущу строя русских истребителей.

Бой тридцати немцев против девяноста русских продолжался примерно двадцать минут. Без боеприпасов я мало чем мог помочь своим товарищам, поэтому взял на себя задачу приглядывать за новичком. Наконец русских оттеснили назад. Их бомбы упали где-то вдалеке, на полях. Потери русских были ужасны. Повсюду внизу полыхали обломки сбитых машин, а в небе висели парашюты с пытавшимися спастись пилотами. Наши «Мессершмитты» беспорядочно кружили в небе, ожидая своей очереди на посадку на базе.

Летчики собрались на КП эскадры и принялись обсуждать только что закончившийся бой. Тридцать пилотов с худыми загорелыми, напряженными лицами и развевающимися на ветру волосами стояли перед командиром, Принцем, как мы его звали между собой. Черты его лица на самом деле чем-то напоминали лица статуй средневековых принцев, которые часто можно видеть в соборах на Западе Европы. Сама группа представляла собой живописную картину на фоне кровавых отблесков заходящего солнца. Один был одет в кожу с ног до головы,

как траппер на Диком Западе, другой – в меховых брюках и унтах, третий – с цветным шарфом и в вышитой украинской шапке. На первый взгляд все эти люди смотрелись несколько распушенными. Но это только если не замечать упоения недавним боем на их мальчишеских лицах и не знать, что этой пестрой компании только что удалось совершить.

Нам точно удалось сбить сорок вражеских машин, и ни одному Ил-2 не довелось возвратиться на свой аэродром. Я попытался представить себе ту же картину среди русских. Часто ли у них случается так, что из боя не возвращается целая эскадра? И все же их с каждым днем становится все больше, и летают они все лучше. Как им это удастся с таким уровнем потерь – для меня до сих пор остается загадкой. Еще большей тайной это кажется после того, как ты увидишь пленных русских пилотов, у которых, как правило, бывают тупые примитивные лица. Как писал в своей книге Геббельс, «русские слишком тупы, чтобы бежать с поля боя». Все мы, фронтовики, воспринимали эту фразу как оскорбление. Но откуда эта страна берет силу, которая растет с каждым днем войны, я так и не мог понять. Все это похоже на сказку о суровом гиганте-герое, который черпает свою непобедимую мощь у самой земли.

Вечером наш старый командир эскадры Лютцов нас покинул. Его назначили командующим силами истребительной авиации на Восточном фронте. Всего несколько недель назад я летел вслед за ним на истребителе-бомбардировщике во время атаки с малой высоты аэродрома города Липецка, севернее Воронежа. После приземления я спросил у него:

– Не кажется ли вам странной манера таким образом отплатить за гостеприимство?

Он был здесь, в Липецке, в те времена, когда летчики рейхсвера тренировались в Советском Союзе. Именно там многие наши старейшие прославленные летчики-истребители учились летать. Лютцов тогда лишь пожал плечами и ничего не ответил.

К тому времени наше наступление на Воронеж неожиданно было свернуто (остановлено контрударами Красной армии. – *Ред.*), и все силы были перенацелены на Кавказ. Лютцов называл это еще одной блестящей идеей нашего фюрера. Но когда нам вдруг поступил приказ вновь развернуться, на этот раз на Сталинград, и нашу сухопутную группировку поспешно разделили на три части (видимо, все же на две части: 9 июля группа армий «Юг» была преобразована в группу армий «А», наступавшую на Кавказ, и группу армий «Б», наступавшую на Сталинград. – *Ред.*), он перестал отзываться о тех решениях как о продиктованных озарением гения. И вот теперь четверть из нас должны отправиться к Ленинграду. В прощальной речи Лютцова зазвучали уже совсем другие нотки:

– Господа, полеты для развлечения, состязания в том, кто собьет больше вражеских самолетов, необходимо прекратить. Положение Германии со всех точек зрения сейчас можно назвать критическим, а состояние наших военно-воздушных сил просто катастрофическое. На будущий год можно ожидать мощнейших воздушных ударов с Запада. А там у нас всего две истребительные эскадры. Каждая машина, каждая капля горючего, каждый летный час представляют собой огромную ценность. То, как неосмотрительно мы ведем себя на земле, является безответственным, а в воздухе – безответственным вдвойне. Каждый выстрел при отсутствии достойных целей в небе следует направить на то, чтобы помочь нашей пехоте. Каждый имеющийся у нас бомбардировщик следует использовать постоянно и с максимальной эффективностью.

Впервые наш командир не повторял нам с готовностью то, о чем заранее трубила официальная пропаганда. Он был прав, говоря о наших полетах для развлечения, рассказывая об общем положении. Но никто не был готов понять его. Офицеры ворчали:

– Атаки на позиции русских на малых высотах? Да он сумасшедший! Одно попадание в двигатель – и можно считать, что русские изжили тебя живьем. Легко ему говорить все это теперь, когда сам он больше не летает! Он разглагольствует о незаменимости наших машин, об ударах по территории Германии и в то же время готов с легкостью пожертвовать нами, лишь

бы поднять моральный дух пехотинцев. Нужно прекратить гоняться сразу за пятью зайцами, если у нас недостаточно войск.

Конечно, и в этих аргументах была своя правда. Удары по целям с малых высот, если они не носят массированного характера, несут в себе несоизмеримый с результатами риск. Но является ли это оправданием для того, чтобы возвращаться на базу с нетронутым боекомплектom, если ты не сумел найти цели в воздухе. Я давно уже взял за практику в таких случаях атаковать транспортные средства в тылу у русских. Помимо прочего, это дает неоценимый опыт стрельбы по цели для новичков. Но в целом проблема оказалась неразрешимой. Мы действительно гонялись сразу за пятью зайцами: Сталинград, Ленинград, Баку, Эль-Аламейн и задачи ПВО на Западе. (Первые три «зайца» надо считать одним, но «очень большим» – на советско-германском фронте в 1942 г. сражалась подавляющая часть боевой авиации Германии, например, на 1 мая 1942 г. 2815 боевых самолетов (с союзниками Германии 3395). В то же время в Северной Африке в мае 1942 г. было 260 немецких и 340 итальянских самолетов (а также 210 немецких самолетов в Греции, в том числе на о. Крит, и на Сицилии 115 немецких самолетов. – *Ред.*) Но Лютцов, по крайней мере, попытался рассеять туман иллюзий, застилавший в то время головы большинства из нас.

30 августа 1942 г.

Майор Эвальд, командир моей эскадрильи и старший в нашей группе, подал сигнал к старту. Две машины, похожие на газелей, побежали по взлетной полосе. Сделав по длинному пружинистому прыжку, они оторвались от земли и понеслись в небо. Под крыльями моего «Мессершмитта» далеко торчат стволы двух новейших пушек. Интересно, на что они способны.

Мы летели в сторону Дона. Севернее, на левом фланге 6-й армии, русские предпринимали отчаянные атаки. Однако при этом им очень не хватало тактической мобильности. Перед тонкими линиями обороны немецких войск, подобно скошенной траве, падали один за другим полки противника. Войска русских, похоже, были полностью деморализованы. Допросы бесчисленных дезертиров рисовали жуткую картину того, в каком состоянии пребывала Красная армия. (В июле – августе Красная армия, ведя тяжелые бои, сковала и блокировала наступательные действия врага. К северу от Сталинграда в конце августа были захвачены плацдармы на южном (правом) берегу Дона, позже сыгравшие решающую роль в операции на окружение немцев под Сталинградом в конце ноября. Про «бесчисленных дезертиров» нашему летчику, видимо, рассказали нацистские политработники. В плен попадало сравнительно немного, защитники города сражались действительно насмерть – есть масса свидетельств не летчиков, а германских танкистов и пехотинцев, которые несли в наземных боях огромные потери. – *Ред.*) Были созданы целые штрафные дивизии (этого не было. Были штрафные батальоны. – *Ред.*), которые, как говорилось в захваченном нами приказе, копировали немецкие штрафные батальоны, и это было сделано по прямому приказу Сталина. Тот приказ, объяснявший необходимость принятия таких мер, звучал примерно так:

«Многие миллионы наших братьев и сестер уже испытывают страдания под германским игом. Жизненно важные для нас территории нашего Отечества попали в руки немецко-фашистских захватчиков. Дальнейшее отступление может опасно истощить силы нашей любимой матери-Родины. Поэтому нам необходимо отказаться от преступной мысли, что самый надежный путь к истреблению врага состоит в том, чтобы заманивать его дальше и дальше в глубь нашей страны и отступать до Урала. Такая позиция является малодушной и преступной, она характерна для трусов и паникеров. Враг не так силен! Товарищи, время отступлений прошло! Не отдадим ни пяди родной земли врагу! Тот, кто думает об отступлении, – предатель. Смерть немецким захватчикам!» (Приказ № 227 Главного политического управления

РККА 29 июля 1942 г. (под лозунгом «Ни шагу назад!») звучал по-другому: «Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа...

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, намного меньше и людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и загубить нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончать отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев, – это значит обеспечить за нами победу...

...Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу назад без приказа высшего командования...». – *Ред.*)

Вместе с захваченным документом, который предполагалось зачитывать перед войсками как свидетельство неминуемой катастрофы Советского Союза (?! – *Ред.*), мы получили приказ перерезать коммуникации между Сталинградом и Калачом, на территории, простиравшейся между северным и южным флангами клещей, которые нацелились и уже успели охватить Сталинград. С этой целью, как сказал наш командир, в район Сталинграда отовсюду должны были подтянуть все имевшиеся в нашем распоряжении танки и бронетранспортеры, примерно семьдесят машин.

– Наверное, сто семьдесят или семьсот? – попытался я поправить его, решив, что он ошибся в цифре.

– Не перебивайте! – оборвал он меня. – Я умею читать!

– Я прошу великодушно простить меня, командир, – ответил я, – но я не могу представить, что сейчас, в самый напряженный момент всей кампании этого года, на пике операции под Сталинградом и на Волге, в нашем распоряжении имеется всего семьдесят танков и бронетранспортеров. Вероятно, что-то перепутали связисты, когда передавали этот документ. (Автор действительно что-то напутал. 23 августа с плацдарма на восточном (левом) берегу Дона нанесли удар 250–300 немецких танков. Основная их часть прорвалась к Волге севернее Сталинграда, меньшая часть поддерживала 51-й армейский корпус, действительно перерезавший пути от Калача-на-Дону к Сталинграду. Видимо, это и есть «70 танков» автора. А были еще танки 4-й танковой армии, наносившей в конце августа удар по Сталинграду с юга. – *Ред.*)

Но после наведения дополнительных справок подтвердилось, что цифра была правильной. В конце июня 1942 года немецкие танковые дивизии получили приказ идти в наступление при значительном некомплекте боеготовых танков. К тому же те огромные переходы, которые пришлось совершать немецким войскам, преследовавшим поспешно отступавшего противника, и, что еще более усугубило положение, поспешно принимаемые Гитлером решения о переброске соединений сначала из-под Воронежа в нижнее течение Дона, а затем снова к большой излучине Дона, сильно ослабили наши танковые войска. Помимо всего прочего, нам не хватало воздушных фильтров для танков и самолетов. Эти детали очень быстро выходили из строя в условиях песчаной местности в степях и пустыне. Все выпускаемые нашей промышленностью фильтры отправлялись в район Эль-Аламейна. Как результат количество выхода двигателей из строя достигло катастрофических величин.

Для истребительной авиации это означало, что из сорока двух машин нашей авиагруппы в состоянии боеготовности редко было больше десяти самолетов. Истребительная авиация Германии вступила в войну, имея в своем составе всего семь авиаэскадр неполного состава. И даже сейчас она насчитывала чуть больше чем одиннадцать полностью укомплектованных эскадр. Штатная численность эскадры составляла 132 самолета, а это означало, что территорию Германии на Европейском театре с его протяженностью несколько тысяч километров прикрывали в лучшем случае пять сотен истребителей. В то же время, по данным авиационной разведки, весной 1942 года только на южном побережье Англии противник сосредоточил более 2 тысяч истребителей.

Итак, мы летели над Сталинградом. Громкие крики в моих наушниках говорили о том, что где-то неподалеку снова идет воздушный бой. Я внимательно изучал обстановку вокруг. Флаги со свастикой, оставшиеся позади внизу, свидетельствовали о том, что мы успели перелететь через фронт. Русские аэродромы были совсем рядом, всего в 15–20 километрах, за другим берегом Волги. И вот русские пилоты мчатся сквозь облака прямо на нас. Один из них, казалось, потерял своих товарищей, и его самолет оказался прямо перед нами. Майору Эвальду оставалось лишь слегка повернуть машину, чтобы выбрать более удобную для стрельбы позицию. Он выстрелил, и белый след, потянувшийся за самолетом русского, ясно показал, что машина получила попадание в двигатель. Но Эвальд уже был далеко от ЛаГГа, поэтому мне пришлось, в свою очередь, тоже доворачивать машину, чтобы завершить его работу выстрелами трех своих пушек. Майор вопил по радио: «Оставь его, я сам займусь им!» – «Прошу вас, майор!» – ответил я, и это прозвучало иронично, так как обычно в бою мы не называли друг друга по званию. Но майор уже не в первый раз пытался так шутить со мной и не впервые опаздывал. Прежде чем его самолет снова вышел на позицию для открытия огня, русский успел приземлиться на брюхо, а облачка разрывов зенитных снарядов вокруг нас говорили о том, что он выбрал неплохое место для посадки. Но у майора Эвальда, видно, было другое мнение на этот счет: «Айнзидель, у тебя три пушки, постарайся зажечь его!» Аварийная посадка вражеского ЛаГГа на брюхо на собственной территории не позволяла майору увеличить свой личный счет, если только машину не удастся уничтожить на земле. Даже без его приказа я уже собирался атаковать приземлившийся русский самолет. Но, раздосадованный тем, что меня вынуждают совершить столь нежелательный эксперимент за 70 километров от фронта, я не удержался и спросил: «А почему бы вам не попробовать сделать это самому, командир?»

Потом я выстрелил. Под огнем моих пушек ЛаГГ на земле загорелся и развалился на части. Я снова потянул на себя ручку набора высоты. К югу от Сталинграда, там, где Волга делает резкую петлю на юго-восток, с воим летели похожие на рой раздраженных пчел двадцать или тридцать советских истребителей «Рата» и даже самолеты еще более устаревших моделей. Мы так и не смогли обнаружить, что же они защищают там, внизу, на земле, поскольку русские были признанными мастерами камуфляжа. Поэтому для нас не было никакого смысла атаковать этих беспокойных насекомых. Они летели слишком низко под прикрытием огня легких

зенитных орудий, к тому же были слишком юркими для наших скоростных машин. Степень риска намного превышала возможную выгоду. Но поскольку мы не нашли других противников в небе, то все же нам пришлось несколько раз атаковать тот рой внизу.

Русские летели даже ниже, чем я думал, на уровне скалистого берега Волги, пикировали и делали петли вокруг нас. Потом они развернулись и направили свои самолеты нам прямо в лоб. Перед нами тут же засверкали огоньки пулеметных очередей, и мы чуть не столкнулись с моим противником. После очередной такой дуэли я направил свой «Мессершмитт» вслед за одной из «Рат», из покрытых тканью крыльев которой мои выстрелы уже выбили довольно крупные куски. И тут я вдруг почувствовал запах какой-то гари, исходивший со стороны винта. С правой стороны радиатора охлаждения потянулась струйка жидкости. Видно, его повредил попавший туда снаряд. Я потянулся туда, где должен был находиться выключатель, но на моей машине старой модификации его не было предусмотрено. В полете на высоте примерно 600 метров я едва сумел преодолеть высоту Сарепта. Из двигателя хлестали горячее масло и дым, поршни стучали все сильнее, и вот, наконец, громко лязгнув, винт машины застопорился.

Я попытался дотянуть до линии фронта. Мимо одна за другой пролетали миниатюрные машинки русских. Их выстрелы, как горох по крыше, застучали по стальному хвосту моего самолета. Я наклонил голову и терзал рукоятку управления, пытаясь уйти с линии огня. Каждое такое движение означало очередную потерю высоты. Вот по крыльям ударили зенитные снаряды. Отвалилась левая пушка. Машина падала. Ценой невероятных усилий мне в последний раз удалось выправить самолет и даже набрать немного высоты, но потом он вдруг ударился о землю, подпрыгнул на мгновение, а затем окончательно рухнул вниз, покатился по земле и, наконец, замер в ужасающей тишине.

Я дважды ударился головой о приборную панель. Полуоглушенный, я все же сумел сдвинуть назад фонарь кабины, который плотно заклинило, и спрыгнул на землю. Примерно в 40 метрах от меня лежали разбросанные в форме подковы останки русского самолета. С запада, в сторону заходившего солнца, через степь перемещалась какая-то часть в плотном строю, очевидно пехотная. Со стороны русского запасного аэродрома, на краю которого я умудрился совершить посадку, в меня начали стрелять. Потом показались солдаты, которые быстро бежали в мою сторону. Я поднял руки.

Это был тот самый решающий момент, который мы часто и очень ясно рисуем себе в воображении и которого так боимся.

С поднятыми руками я дожидался русских. Мой взгляд был прикован к западу, туда, где солнце приближалось к горизонту. Там всего в пятнадцати минутах полета на родном аэродроме меня ждали товарищи. Но теперь все это осталось позади. Я остался один, и неизвестно, что ожидало меня впереди. Я посмотрел вниз на свою кожаную летную куртку, испачканную маслом, стоптанные сапоги и пилотские перчатки. Наконец мне удалось расстегнуть ремень с кобурой пистолета, и я вручил его первому же подошедшему русскому. Потом я снова поднял руки. Не говоря ни слова, русский опустошил мои карманы: носовой платок, сигареты, бумажник, перчатки, – похоже, ему пригодится все это. В это время к нам подъехала машина, из которой выбрался офицер в летных меховых унтах. Он протянул в мою сторону рукой.

– Товарищ, – произнес офицер с раскатистым «р» и добавил еще несколько слов.

Мне наконец позволили опустить руки. Испытывая чувство глубокого облегчения, я пожал протянутую руку.

Взглядом специалиста он посмотрел на мой самолет, который одиноко стоял на песке, с погнутыми крыльями, помятым фюзеляжем и переплетенными лопастями пропеллера. Когда он увидел маленькие белые полосы на фюзеляже, советские кокарды и красные звезды, то издал возглас удивления. Летчик быстро пересчитал все эти символы: десять, двадцать, тридцать, тридцать пять, потом медленно кивнул и, показав на пальцах число «двадцать два», ткнул

себя в золотую звезду на груди и что-то сказал по-русски. Я сначала не понял его слов, но он повторил:

– Я – Герой Советского Союза!

Я тогда не понял, что это название государственной награды, которую выдавали за особые заслуги, и лишь с трудом сумел удержаться от улыбки. Но он, похоже, принял это как знак признания и гордо и с удовольствием засмеялся.

В это время сюда же подкатил грузовик, кузов которого был полон русскими летчиками. Со сжатыми кулаками они посыпались оттуда и бросились в мою сторону. Один из них, великан, спрыгнув на землю, попытался отправить меня в нокаут ударом, который, наверное, мог стоить мне нескольких зубов. Но я сумел уклониться, и парень под воздействием ускорения, которое сам же себе и придал, перелетел через меня и упал прямо на руки Героя, который ухватил его за лацканы мундира, подтолкнул в сторону и сделал внушение в выражениях, что, должно быть, часто использовались в прусских казармах.

Мне пришлось выдержать еще несколько ударов и тычков, прежде чем возбуждение вновь прибывших несколько улеглось и их интересы сместились в сторону «профессиональных» материй. Почему я совершил вынужденную посадку? Сколько самолетов я сбил? Какими наградами я был отмечен? Женат ли я и где мой дом? Все эти вопросы задавали на ломаном немецком языке с удивленными смешками и детским любопытством. Наконец, командир группы отдал приказ всем расходиться, и меня отвели на командный пункт, расположенный на краю аэродрома. Здесь в землянке, в которую вели двадцать три ступени, начался первый допрос.

– Имя и звание? – Командир с Золотой Звездой Героя СССР сам задал первый вопрос.

Я заколебался. Мой китель остался в штабе, а на кожаной куртке не было знаков различия, ничего такого, что помогло бы установить мою личность. Я подумал, не будет ли лучше, если я попытаюсь утаить свое звание и титул. Но должно быть, из чувства упрямства и гордости я сказал ему правду. Я сказал, что девичьей фамилией моей матери была Бисмарк – графиня Бисмарк.

Офицер подпрыгнул и вскричал:

– Бисмарк! Бисмарк! Рейхсканцлер! Вы что, сын того Бисмарка?

Я терпеливо объяснил, что являюсь всего лишь правнуком. Офицер вышел в соседнее помещение, и я слышал, как он разговаривает с кем-то по телефону, повторяя слово «Бисмарк». Затем наступила пауза, и я стал ждать развития событий. На скамейке напротив меня развалился летчик, который смотрел на меня, не отрывая взгляда. Потом он вдруг вскочил, схватил мою левую руку и поднес ее к своему лицу, будто собирался поцеловать. Его внимание привлекло кольцо-печатка. Он быстро стянул кольцо с моей руки и положил себе в карман брюк, где уже лежали мои наручные часы. Сделав угрожающий жест, он приказал мне не упоминать об этом небольшом инциденте и вышел вон.

После допроса меня сразу же увезли с аэродрома. С крепко связанными руками меня посадили в машину. Всю дорогу рядом со мной сидел офицер с пистолетом в руке. Мне удалось осторожно сдвинуть повязку, которой мне завязали глаза. Машина двигалась по степи вдоль берега Волги, потом мы въехали на пыльные улицы Сталинграда. Улицы города были пустынные, дымились черным дымом разрушенные здания. Через пустые провалы домов, где когда-то были окна, издалека были видны багровые отблески пламени. На зеленом островке земли между развалинами огромных бетонных зданий лежал казавшийся невредимым немецкий «Хейнкель-111». Я увидел на фюзеляже фигурку льва, эмблему моей эскадры, и подумал о судьбе своих товарищей.

* * *

В углу мрачного кабинета меня поставили лицом к стене, где мне пришлось простоять несколько часов. Один из русских подвинул мне стул и предложил присесть, но его коллега тут же сбил меня с сиденья ударом кулака. Той же ночью меня допрашивали снова. Дом содрогался от рвущихся неподалеку авиабомб. Потом меня вывели на улицу, где стоял грузовик, около которого ждали несколько солдат.

– Ты офицер, и я офицер! Значит, мы товарищи! – проговорил один из них и похлопал меня по плечу. Явственный запах водки от него выдавал его состояние.

Та ночная поездка по улицам Сталинграда казалась мне бесконечной, в особенности после того, как русские стали совать мне под ребра свои автоматы, и на каждом ухабе со страхом ожидал случайной очереди. Так с охраной по бокам я ехал по темным переулкам. Следующее, что мне запомнилось, была железная койка с ячеистым матрасом в подвале большого жилого дома. Передо мной сидел все тот же офицер, от которого пахло водкой. По краям кровати рядом со мной расселись солдаты с узкими глазами монголов и казахов. Русские вели себя довольно дружелюбно. Двое из них могли объясняться на ломаном немецком. И вновь мне пришлось отвечать на бесчисленные вопросы о своей личной жизни и о Германии. Наши противники думали о нас примерно так же, как и мы о них. Постепенно разговор начал смещаться в сторону политических вопросов.

– Почему вы напали на нас? Что мы вам сделали? Что вам нужно в Сталинграде?

«Если бы я сам это знал», – подумал я про себя и ничего не ответил. Русские выдержали паузу, а затем снова стали задавать те же вопросы. Я понял, что уклониться от ответа не удастся.

– Мы, немцы, ничего не имеем против русских, – начал я осторожно. – В Германии никогда не испытывали вражды по отношению к России. Против Франции – да, наверное, и, возможно, против Англии, за прошлую войну, но никогда не против России.

– Но почему же тогда вы напали на нас и уничтожаете все вокруг?

От этого вопроса уйти не удалось.

– Я считаю, что то, что мы воюем друг с другом, – это катастрофа как для Германии, так и для России. Такая война может быть выгодна только англичанам и американцам. Это они своими маневрами подтолкнули Германию к этой авантюре.

Я высказался так только для того, чтобы разрядить обстановку. В конце концов, я не хотел говорить этим людям в лицо, что мы пришли, чтобы отнять у них землю и превратить в свою колонию. А им вряд ли понравилось бы, услышь они выражение «крестовый поход против большевизма».

Мои слова произвели поразительное впечатление. Я и не думал, что мне удастся попасть в тон тому, что вот уже несколько лет внушала людям официальная советская пропаганда.

Все эти русские были невысокого мнения об англичанах, в основном из-за задержки теми открытия второго фронта. Они кивали в знак согласия. На какое-то время я позабыл о положении, в котором находился.

Русский офицер первым нарушил сложившуюся атмосферу мира и согласия. Он явно хотел разрушить то благоприятное впечатление, которое сложилось у его подчиненных от моих слов, и не позволить им попасть во власть симпатий к «фашисту».

– Гитлер – капиталист, – пробубнил он монотонным голосом.

Его слова упали, как камень в спокойную воду. Все снова стали смотреть в мою сторону с выражением враждебного ожидания на лицах. Офицер наклонился ко мне, обдавая меня запахом водки:

– Ты должен сам сказать нам, каков ваш Гитлер! – Он держал меня за одежду и медленно раскачивал взад-вперед.

Я попытался улыбнуться и притвориться невозмутимым. Пусть уж они считают Гитлера капиталистом, если им так уж это нужно. Я злился, что мне предъявляют счет еще и за это.

– О! Гитлер! – заметил я миролюбивым тоном. – Может, он и капиталист, я не знаю, но, по-моему, это не так.

В комнате поднялся шум. Я получил удар кулаком, от которого опрокинулся на кровать. Офицер поднял пистолет (я отстраненно отметил, что от него пахнет немецкой смазкой) и с искаженным от ярости лицом направил его на меня.

Я закрыл глаза. Это конец, подумал я. Я не успел даже толком испугаться. Но комната вдруг опустела. Только в дверях остался солдат маленького роста монгольской внешности, с винтовкой с примкнутым штыком, которая была раза в два длиннее его роста. (Длина винтовки Мосина образца 1891/1930 г. без штыка 123 см, со штыком 166 см. – *Ред.*) Вид часового заставил меня улыбнуться. Я зашелся в приступе истерического, со слезами, хохота.

Я был не в силах остановиться до тех пор, пока часовой не направил мне в грудь штык и не приказал замолчать. На меня, подобно свинцовой плите, обрушилось чувство отчаянного одиночества и безнадежности. Мне представилось, как мои товарищи стоят на аэродроме и разговаривают обо мне. Видел ли майор, как я совершил вынужденную посадку? Знает ли он, что я остался жив? Что он расскажет моим родителям? Меня вновь охватил страх. Что будет с моей матерью, когда она узнает, что ее сын пропал без вести? Разумеется, все мои домашние будут думать, что русские замучили меня до смерти. Если бы я только мог послать им весточку надежды! Можно ли отправить письмо в Германию через какую-нибудь из нейтральных стран? Например, через фон Папена (посла Германии в Турции. – *Ред.*) в Анкаре? Я попытался сосредоточиться. Возможно, мне придется провести в плену годы, и все это время я буду сознавать, что моя мать до смерти беспокоится обо мне. Как долго может продлиться мое заключение? Я вспомнил, как в споре с нашим доктором заметил: «Если мы не возьмем к началу зимы Сталинград и Баку, то мы обязательно проиграем эту войну».

Но, независимо от того, будет это победа или поражение, как долго все это продлится? Над этим вопросом я не слишком задумывался раньше. «Если вдруг наступит мир», – иногда шутили мы. Для некоторых особенно рьяных пилотов-истребителей эта перспектива была не слишком приятной. Проклятье! Сейчас для меня все стало совсем другим. Что готовит мне плен? Сколько уже наших пленных у русских? И есть ли они вообще? Где находятся лагеря военнопленных? В Сибири? Не постигнет ли нас судьба «армии за колючей проволокой» и на этот раз? Или теперь все будет по-другому? Я задавал себе вопрос за вопросом, но не находил ответов.

31 августа 1942 г.

Меня снова вызвали на допрос. Все происходило в помещении в грязном бараке с замусоренным полом. Посередине сидели две фигуры свирепого вида, как изображают коммунистов в карикатурах в «Фёлькишер беобахтер» (немецкая газета. Перевод названия «Народный обозреватель». В 1920–1945 гг. печатный орган НСДАП. Тираж достигал 1,7 млн экз. (в 1944 г.). С февраля 1923 г. до конца (последний номер 30 апреля 1945 г.) выходила ежедневно. – *Ред.*). Фуражки были сдвинуты далеко на затылки, растрепанные волосы падали на лбы. Оба перекатывали сигареты из одного края рта в другой. Эти двое сплевывали прямо на пол шелуху семечек подсолнуха, пили водку, потрясали кулаками, потрясали пистолетами и дубинками, создавая при всем этом ужасный шум. Перекрикивая этот шум, они задавали мне вопросы. Когда я отказался назвать номер своей авиагруппы, они обрушились на меня с кулаками и били дубинками.

– Мы заставим тебя говорить, проклятая немецкая свинья!

Ту же фразу, только без определения «немецкая», мне довелось слышать от офицера гестапо в 1938 году, когда мне пришлось отвечать за то, что я руководил нелегальной молодежной группой. Правда, гестаповец добавлял еще: «Мы не станем больше нянчиться с тобой!»

Но похоже, этим двоим совсем не было нужды со мной нянчиться. С пленными здесь обращались как с закоренелыми преступниками. Отвечая на следующий вопрос, я постарался быть более осмотрительным и не отказываться напрямую давать показания. Я лгал, изворачивался, притворялся, что не понимаю вопросов. Таким образом, мне удалось выйти оттуда практически невредимым.

1 сентября 1942 г.

В сопровождении двух конвоиров меня вывезли из Сталинграда на пароме на другой берег Волги. В небольшой долине, под кустами и деревьями, хорошо замаскированные, скрывались советские тыловые колонны. Вокруг меня собралась толпа солдат и офицеров, и снова посыпались вопросы, к которым я уже успел привыкнуть, где переплелись желание поболтать, ненависть, любопытство и добродушная общительность. Один из офицеров вдруг бросился на меня и схватил меня за ворот. Я не понял, что он сказал своим товарищам, но ответом стал взрыв смеха. Мои конвоиры пытались протестовать, но они ничего не могли поделать. Под пронзительные крики и громкий смех меня поволокли в лес и поставили перед деревом. Напротив построился десяток человек с пистолетами. Боже мой, они собираются расстрелять меня! Первой моей мыслью было, что никто никогда не узнает о моей смерти. Я не знал, с чем бороться в первую очередь: со слезами или с ужасающим приступом тошноты. От обморока меня удерживала лишь надежда на то, что они могут промахнуться. Послышались крики, команда, треск нажимаемых курков, а потом мир вокруг меня взорвался.

Когда я пришел в себя, я все еще стоял, прислонившись к дереву. Я ничего не слышал, но видел грубые широкие лица громко смеявшихся людей. Наконец после нескольких грубых шлепков и тычков я пришел в себя. Я упал на землю, меня вырвало, я зарыдал и никак не мог остановиться. Русские стояли вокруг, совсем растерянные. Каждый хотел чем-то помочь мне. Один из них принес мне воды, другой протянул кусочек дыни, третий предложил мне сигарету, но мне ничего этого было не нужно. На меня навалилось чувство полного равнодушия. Я не мог даже ненавидеть этих людей.

Ближе к вечеру наш грузовик по понтонному мосту переправился через северный (левый. – *Ред.*) рукав Волги (Ахтубу) в поселок Средняя Ахтуба, над которым я много раз пролетал во время налетов с малых высот на близлежащий аэродром. Мы остановились на улице поселка, и один из моих сопровождающих исчез в здании, похожем на ферму. Он вернулся в сопровождении офицера, который принадлежал к ранее не известному мне в России типу: изящный молодой человек с тонкими чертами лица, чьи манеры и обмундирование делали честь и выпускнику военного колледжа где-нибудь на Западе, в отличие от большинства неряшливых русских (фронтовиков. – *Ред.*), с которыми мне пришлось иметь дело прежде. Этот человек говорил на немецком языке без акцента. Вежливо и корректно, почти дружелюбно он пригласил меня в дом. Комната, в которую он привел меня, была чистой. На столе стояла ваза с цветами. В комнате была аккуратно застеленная койка, еще один стол с бумагами на нем, два стула и портрет Ленина в рамке на стене.

Офицер раскрыл портсигар:

– Пожалуйста, угощайтесь. Вы ведь граф Айнзидель из 3-й авиагруппы истребительной эскадры «Удет», не так ли?

– Откуда вы знаете? – удивился я. – Я никому не упоминал о своей части.

– Ну, вы не первый офицер этой эскадры, с кем мне приходится беседовать. Ваши потери в небе над Сталинградом довольно высоки.

– Все зависит от того, как их рассматривать, – парировал я, – на каждый свой потерянный самолет мы сбиваем шестьдесят ваших.

Это было преувеличением. Такое соотношение в нашу пользу было только в 1941 году. К зиме оно упало до одного к тридцати, а в последние четыре месяца, после того как мы снова появились на фронте, оно вновь поднялось до одного к сорока. (Даже в катастрофическом 1941 г. боевые потери советской авиации составили 10 300 самолетов (общие 17 900). Немцы за первые полгода войны потеряли 5100 самолетов. – *Ред.*)

Русский отрицательно покачал головой:

– Вы и сами себе не верите. Если это действительно так, тогда почему у вас так мало истребителей над Сталинградом? Ваши цифры некорректны. Вы не можете сравнивать потери своих истребителей с нашими потерями всех типов самолетов. Тогда вам тоже следует считать немецкие потери в бомбардировщиках, штурмовиках и транспортных самолетах.

Конечно, его доводы были справедливыми. Но почему я должен был соглашаться с этим?

– Итак, почему у вас, немцев, так мало истребителей в районе Сталинграда? – настаивал мой собеседник.

– Мало или много, – не думаете ли вы, что я стану снабжать вас этой информацией?

– О, мне совсем не нужна от вас информация военного характера.

Он порылся в своих бумагах и зачитал мне номера частей и подразделений авиации в районе Сталинграда и назвал их примерный боевой состав. Всего чуть больше ста машин.

Он засмеялся:

– Сначала я не мог поверить этим цифрам. Но ваши пленные подтверждали эти данные снова и снова.

– Да, в отношении допроса пленных вы не щепетильны: ни перед чем не останавливаетесь, а ведь есть черта, которую переступать нельзя.

– Вас, должно быть, били? Да, такое случается. Но большинство ваших коллег настолько напуганы тем, что их просто расстреляют в спину, как это описывает Геббельс, что они рассказывают обо всем, даже не дожидаясь вопросов. И вообще вряд ли немцам стоит ссылаться на международные нормы.

Какое-то время офицер молчал.

– Мы обсудим это позже. Давайте вновь вернемся к цифре в сто истребителей. Это ведь мало, вы согласны со мной?

– Очевидно, этого достаточно, – ответил я, глядя в раскрытое окно, через которое доносился шум моторов, треск пулеметных очередей, раскаты выстрелов легких зенитных орудий – свидетельство того, что в сумеречном небе над Средней Ахтубой происходило очередное воздушное сражение. – Над нашими авиабазами в восьмидесяти – девяноста километрах от линии фронта такое не случается. Недавно примерно девяносто ваших самолетов направились на наш аэродром, им удалось пролететь за линией фронта всего около двадцати километров, и ни одна бомба не поразила цель. А вы потеряли сорок бомбардировщиков и истребителей.

Русский жестами приказал мне замолчать.

– Ваши донесения лгут, – заявил он.

– А в какой армии не лгут? – парировал я. – Но мне пришлось самому принять участие в том бою, и он был не единственным.

– Давайте не будем ссориться по этому поводу, просто ответьте мне на один вопрос: как вы считаете, Германия выигрывает эту войну? Подумайте над этим, и мы поговорим об этом завтра.

После этих слов я в сопровождении конвоиров был выведен из помещения.

В ту ночь моим пристанищем была разрушенная овчарня без крыши и дверей, всего четыре полуразрушенных закопченных стены на небольшом пятачке земли при полном отсутствии пола.

В степи сентябрьские ночи довольно холодны, но мне не позволяли даже двигаться, чтобы хоть как-то согреться. Как только я начинал шевелиться, охранники замахивались на меня прикладами винтовок. Я почувствовал, что меня лихорадит. Кожа горела и чесалась, последствия укола от столбняка, который мне сделали после осколочного ранения. Прежде мне довелось провести на открытом воздухе сотни ночей, в том числе одну на северном фланге фронта в Писпале (в Южной Финляндии. – *Ред.*), при температуре 14 градусов по Фаренгейту (минус 10 по Цельсию) и пару недель в гористой Лапландии (на севере Финляндии), в мокрой одежде и одолеваемому полчищами комаров. Когда мне было одиннадцать лет, меня послали в поход на ночь за 20 километров через горный лес, без карты и фонаря, почти умиравшего от страха при звуке собственных шагов. Но все те ночи были просто раем в сравнении с этой.

Казалось, в меня проникал холод со всей Вселенной, поступающий прямо из неведомых далей черного небосвода, а звезды смотрели на меня строго и отчужденно. «Звездные небеса надо мной, а моральные нормы находятся внутри меня», – мои губы непроизвольно прошептали известную фразу Канта. Потом я уткнулся взглядом в звезды. Мои зубы стучали от холода, я с ума сходил от голода, тело горело, и болела каждая косточка. В голове лихорадочно проносились мысли. Что это был за молодой офицер? Он из тех людей, кого хотелось бы иметь в числе друзей. Много ли таких у Советов? Я на самом деле надеялся на продолжение нашей беседы. Но что я ему скажу? Разумеется, каждый солдат верит в свое дело и свою победу, это естественно. Или, по крайней мере, показывает это в беседе с противником. Большинство моих товарищей верили искренне. А я? И если я в чем-то сомневался, стоило ли признаваться в этом? Может, русские подумают, что я просто пытаюсь переметнуться на сторону тех, за кем правда? Мне хотелось услышать, какие ответы на все эти вопросы даст мой новый знакомый, который, несомненно, принадлежал к советской элите. Сам я не знал, как на них ответить. К черту все уставы. Я попал в положение, которое невозможно было заранее предвидеть. Буду разговаривать так, как того потребует ситуация.

Я вдруг представил перед собой ряд пистолетных стволов, грубые пустые лица, на которых читалась радость от того, что в их власти находится беззащитная жертва, искаженные гримасой рты за нацеленным в меня оружием, кулаки и дубинки допрашивавших меня комиссаров.

Когда все это кончится? И чем все это кончится? Если бы только у меня была возможность отправить письмо! Если бы эти чертовы звезды надо мной могли мне помочь в этом! Неожиданно я представил, как весь этот огромный земной шар, на поверхности которого я лежал, дрожа от холода, бесчувственной глыбой мчится вперед сквозь ночную тьму. Я подпрыгнул. Пусть часовые избивают меня. Мне нужно двигаться, чтобы согреться, чтобы начать думать о чем-то другом, иначе я просто больше не выдержу.

Часовые тут же оказались рядом. Они что-то выкрикивали и угрожали мне прикладами винтовок и штыками. Я тоже начал кричать, поднял руки, вскочил на ноги и заскакал на месте, как сумасшедший. После этого меня оставили в покое. Часовые молча стояли в проеме двери и с подозрением наблюдали за моими ночными танцами.

2 сентября 1942 г.

Вместе с рассветным солнцем пришло тепло, желание жить дальше и освежающий сон. Моя беседа с молодым лейтенантом была продолжена только во второй половине дня.

– Итак, – начал он, – что вы думаете об этой войне? Победит ли Германия? Является ли эта война справедливой?

Я задумался, стараясь поточнее сформулировать ответ.

– Скорее всего, вы уже много раз думали об этой войне. Человек, подобный вам, не может провести на фронте годы и ни разу так и не задуматься о смысле и целях борьбы.

– Цель этой войны – дать Германии место среди других народов в соответствии с ее размерами, количеством населения и достижениями, – наконец ответил я.

– Является ли война единственным средством достижения всего этого?

– Конечно.

– Вы считаете, что у Германии не было другого выбора, кроме как развязать войну, напасть на другие страны, оккупировать их и поработить всю Европу, – все это для того, чтобы занять подобающее место в мире? Вы на самом деле полагаете, что миссия Германии состоит в развязывании войн?

– Нет, конечно, я так не думаю...

Я перечислил факторы, которые, по моему мнению, привели Германию к созданию Третьего рейха и к войне: отказ в ее претензиях на равные с другими народами права, продемонстрированный Версальским договором, безработицу, долги, избыточное население, а также неспособность веймарского режима справиться с этими проблемами.

После того как я закончил, он спросил:

– Не думали ли вы когда-нибудь о том, что, например, в Америке, которой никто не навязывал условий Версальского договора, где плотность населения намного ниже, где с ее неисчерпаемыми ресурсами и зарубежными рынками, все же пережили периоды такого же жестокого кризиса, как и в Германии? Там почти настолько же сократилось производство и выросла безработица, как и у вас. Но разве американцы после этого привели к власти Гитлера и развязали войну?

– Нет, – признал я. – Но перечисленные вами факторы дали им более значительные возможности для преодоления кризиса в своей стране.

– То есть вы полагаете, что война была неизбежна и даже необходима?

– Я не могу сказать, была ли она неизбежна и необходима. В конце концов, я не экономист и не политик. Но факты, которые я перечислил, объясняют, почему она началась.

– То есть вы ведете справедливую войну? Вы справедливо захватили советскую территорию? Вы имели право бомбить Сталинград, Воронеж, Роттердам, Белград и Лондон? Вы справедливо убивали евреев, поляков, украинцев, французов, югославов? Или?..

– Нет. Война – это одно, а убийства – совсем другое.

– Вы офицер?

– Да.

– Летчик-истребитель?

– Да.

– Вы участвовали в боях?

– Участвовал.

– Сколько самолетов противника вы сбили лично?

– Тридцать пять.

– Ради чего?

Наверное, я мог бы сказать тогда: «Ради Германии». Но я не смог выдать из себя этих слов. Я слишком устал. Даже не устал, я почувствовал, что для меня просто невозможно выговорить эту фразу. Но про себя я тогда продолжил начатый с русским разговор. Ради Гиммлера или Лея? Или, может быть, ради Геринга в его синем шелковом наряде и десятками красных сапог с золотыми шпорами, чтобы их делали из русской кожи? Ради пожара в Рейхстаге? Ради дня 30 июня (1934 г. – *Ред.*), концентрационных лагерей, гестапо и вождей партии? А может быть, ради депортации евреев и уничтожения заложников? Для чего? Я не мог ответить, и мне вдруг стало понятно, что я никогда не знал ответа на этот вопрос. В 1933 году мне было

двенадцать лет. В детстве я много раз слышал у нас дома разговоры о «тысячелетнем рейхе», отчего, впрочем, я не почувствовал большего уважения к его «великим вождям». Конфликт между движением «свободной молодежи» и «молодежью Гитлера», мой врожденный критицизм заставили меня принять сторону противника, они породили во мне первое неприятие нацистского режима.

И все же война как приключение и война как политическое событие означали для меня разные вещи. Но я никогда не задумывался над этими двумя понятиями одновременно. Но как я мог объяснить все это тому офицеру, что находился сейчас передо мной?

Русский молча смотрел на меня, но я избегал смотреть ему в глаза. И тогда он сам нарушил молчание:

– Итак, вам нечего мне ответить. Но как вы думаете, вы выиграете эту войну?

– Боюсь, что нет.

– Под этим «боюсь» следует понимать, что вам все-таки хотелось бы победить?

– Проигранная война не несет ничего хорошего любой стране.

– А как вы думаете, что хорошего принесет другим странам то, что Гитлер победит в войне?

Я пожал плечами. Меня вдруг стал тяготить весь этот разговор. Что этому человеку было нужно от меня на самом деле? Война есть война; войны всегда были и всегда будут; справедливые или несправедливые, они могли закончиться хорошо или плохо. Немцы сражаются за Германию, русские – за Россию, англичане – за свою империю. Мне никогда не приходило в голову спрашивать пленных летчиков-англичан, за что и почему они воюют. Мы пили с ними виски, а по вечерам устраивали с другими английскими летчиками гонки вокруг их аэродромов. И они, и мы были солдатами, злейшими врагами в небе, но товарищами на земле. Мы уважали друг друга и принимали это как должное. Почему там все было не так? Русский задал мне еще несколько вопросов. Но я перестал отвечать на них. Тогда он приказал увести меня. Он сделал это очень вежливо, никак не меняя выражения лица, никак не показав своего триумфа. Но я чувствовал, что он был удовлетворен разговором. Я вернулся в свои четыре стены, униженный и расстроенный, злясь на самого себя, на нацистов, на войну и на русских.

Ночь снова казалась жестокой и бесконечной. Меня лихорадило. На теле появилась приносящая болезненное раздражение сыпь. Утром я попытался объяснить конвоиру, что болен. Прибыл фельдшер с термометром, таблетками и, что меня больше всего удивило, машинкой для стрижки волос. Я тогда от души посмеялся над собой. Уж если у них были самолеты, танки, пистолеты и сенокосилки, то конечно же у них должны были быть термометры и машинки для стрижки.

Но когда русский приставил свою машинку у моей шеи сзади и, не останавливаясь, стал продвигаться вперед, пока не дошел до моего лба, я подпрыгнул и попытался защищаться, одновременно осыпая его проклятиями и бранью. Но все было напрасно. Мне пришлось полностью лишиться волос. В полном отчаянии я провел рукой по остриженной наголо голове. Было такое чувство, будто меня сделали калекой. Прошло несколько часов, прежде чем мне удалось вернуть себе хладнокровие. Я вспомнил о Самсоне и Далиле. Теперь я понял, почему на протяжении веков пленникам стригли волосы и почему унтер-офицер, сержант или капрал в любой армии рассматривает чуть ли не как бунт попытку рекрута защитить свою шевелюру. Оставить человека без волос равносильно лишению его части своей личности, потере самоуважения.

4 сентября 1942 г.

Очередной перекрестный допрос. Лысый толстяк, очевидно старший офицер, предложил мне сесть.

– Как вы находите свое положение здесь? – спросил он с иронией.

– Ну, я бы предпочел оказаться по другую сторону, – парировал я.

С этим человеком я не мог позволить себе расслабиться. Из него, наверное, получился бы хороший прокурор, один из тех, которым преступления приносят радость, так как это дает им возможность почувствовать свою власть. В то же время внешне этот человек напоминал одного из монахов, которых любят изображать в рекламе баварских пивоварен. Он держал руки скрещенными на животе, а крохотные насмешливые глазки смотрели на мир с его круглой физиономии самодовольно и одновременно благочестиво. По тому, как к нему обращались подчиненные, я узнал, что моего инквизитора зовут полковник Тюльпанов.

– Но ведь не мы пригласили вас сюда, – продолжал он с сарказмом, – а потому, как непрошеному гостю, вам придется довольствоваться тем обращением, которое вы имеете.

Эти насмешки заставляли меня злиться все больше и больше: я был небрит, грязен, с наголо остриженной головой и ноющим от голода желудком.

– На свинцовых рудниках в Сибири у вас будет масса времени подумать обо всем этом, – не желал униматься мой мучитель.

Меня так и подмывало заявить, что я и не ожидал ничего другого, но я старался контролировать себя. Что-то говорило мне, что в общении с такими типами осторожность предпочтительнее смелости и открытости. Наконец, он начал задавать мне конкретные вопросы обо мне и моих родных; его интересовало, какое отношение я имею к Бисмарку. Далее последовали вопросы о моем образовании, военной подготовке и тому подобном. Неожиданно он спросил меня, что я знаю о Карле Марксе. Я неопределенно ответил, что еще до 1933 года, когда я учился в младших классах, Карл Маркс упоминался в курсе истории. Но я не смог вспомнить почти ничего, кроме того, что он жил в прошлом веке, был евреем и являлся отцом коммунизма. Ироническая улыбка, появившаяся после этого на лице толстяка, сводила меня с ума. Ведь я находился здесь как участник крестового похода против большевизма, не имея даже представления о том, что это такое. В это время лысый толстяк продолжил допрос:

– Вы много читали? Что именно?

Я привел в качестве примеров первое, что взбрело в голову: Вихерт, Биндинг, Рильке, Герман Гессе, Юнгер, Бемельбург, Двингер. Потом я на минуту задумался: русская литература? И я вспомнил: «Тарас Бульба», несколько коротких произведений Лермонтова и Пушкина, но предпочел не вспоминать произведение Краснова «От Двуглавого Орла к красному знамени».

– Я удивлен тем, как мало вы знаете о современной литературе, – заметил мой оппонент.

Тогда у меня не было времени поразмышлять о том, что из всех людей именно большевику выпало принимать у меня экзамен на знание литературы. Но меня выводила из себя настырность этого человека. Чего он ожидал? Мне было двадцать один год, из них три года я находился на военной службе. Что, по его мнению, я должен был знать о мировой литературе? Хотел бы я знать, действительно ли лейтенанты в русских ВВС были более начитанными? Те несколько летчиков, с которыми мне пришлось встретиться, а также тупые советские офицеры, стоявшие во главе колонн военнопленных, определенно не производили такого впечатления.

– Вам известно, что думал Бисмарк по поводу войны с Россией?

– Да, немного. Он всегда считал, что такая война была бы чересчур рискованной.

– Как вы думаете, он был прав?

– Для своего времени, разумеется.

– А в наше время?

– Вероятно, эта мысль верна и для нашего времени.
– Итак, вы полагаете, что Гитлер проиграет эту войну?
– Это будет зависеть от вас.
– В чем именно?
– Если война на Востоке не закончится до конца этого года, Гитлер проиграет ее!
– Как вы думаете, она успеет закончиться?
– Я не знаю, как скажется на вашей способности драться потеря Сталинграда и Баку, но я считаю, что вряд ли можно надеяться, что война кончится до конца года.
– Тогда почему вы продолжаете сражаться?
– Разве одно связано с другим? Немецкий народ воюет и верит в победу. Я знаю всего пять или десять человек во всей Германии, которые не верят в победу Гитлера, а мои товарищи просто смеялись надо мной, когда я высказывал сомнения по этому поводу.
– Хотели бы вы написать письмо домой?
– Конечно, хотел бы, но как это сделать?
– Вы могли бы написать его в виде листовки, в которой выражаете свои сомнения в победе Гитлера.

– Я не стану этого делать.
– Почему?
– Вряд ли это нужно объяснять.
– А разве дома вы никогда не говорили о своих сомнениях?
– В кругу своих товарищей – да.
– Почему же не хотите сделать это снова?
Я не ответил. Действительно, почему бы нет? Это было бы против всех правил военного человека. Но новость о том, что я пропал без вести, вскоре дойдет до моего дома, и что будет тогда? Последний из оставшихся в живых сыновей пропал без вести в Советском Союзе! Это было бы хуже чем просто весть о моей гибели в бою.

Человек напротив меня прервал мои размышления:

– Ну, если вы не хотите делать этого, никто не станет принуждать вас.

Я попросил дать мне время подумать.

Конвоир отвел меня обратно в мою грязную нору в разрушенной лачуге, где я снова остался наедине со своими мыслями. Листовка? Это было бы настоящим предательством. После этого для меня станет невозможным возвращение в Германию, пока у власти там останется Гитлер. Это решение должно было повлиять на всю мою дальнейшую жизнь. В прошлую войну ни о чем подобном даже не слышали. Офицер кайзера даже не стал бы дожидаться, чтобы ему сделали подобное предложение повторно. Но разве можно сравнивать эти две войны? В те дни существовал рейхстаг, мирные инициативы, забастовки и антивоенные демонстрации.

«Что бы ты сделал, – продолжал я спрашивать у самого себя, – если бы десять дней назад кто-то рассказал тебе о заговоре против Гитлера и его армии? Донес бы ты на этого человека?» Ну и вопрос! Чтобы я согласился стать пособником этих сумасшедших, этих наркоманов и пьяниц, авантюристов и мегаманьяков с лицами дегенератов? Я вспомнил, как мой отчим, к стыду собравшейся семьи, вешая на стену огромный дешевый портрет Гитлера, окинул его долгим, задумчивым взглядом и, наконец, бросил: «Разве все вы не видите, каким кретином, грязным и низким типом выглядит этот человек?»

И все же всего пять дней назад я сражался под знаменем Гитлера и носил свастику на своем мундире. Что должны были подумать русские, если я откажусь от всего этого сейчас, когда нахожусь у них в плену?

У меня не оставалось времени на размышления. За мной пришел охранник, который отвел меня в комнату, где ждали те, кто меня допрашивал.

– Итак, что вы решили?

Я все еще пребывал в неуверенности. Как я должен был поступить? То ли от стыда, то ли от волнения или лихорадки я почувствовал, как у меня подскочила температура. Может быть, я сам виноват в том, что мне приходится стоять перед подобным выбором?

Почему для военнопленных не предусмотрено почтового сообщения? Почему мы оказываемся полностью отрезанными? Имею ли я полное право делать или не делать то, что нахожу нужным сейчас, когда я стал полностью сам себе хозяином, не подвластным законам и не имеющим прав, лишенным всякой защиты родины? Почему я не могу сказать или написать то, что считаю нужным, чтобы дать своей матери хоть немного утешения и надежды?

Русский повторил вопрос, и я принял решение:

– Да, я напишу это.

Я передавал привет своим родителям и своим друзьям. Я сообщил, что со мной обращаются корректно. Я заявил, что считаю, что Германия проиграет эту войну и что предупреждение Бисмарка относительно войны с Россией снова подтвердилось.

Когда я выходил из комнаты, русский подал мне руку и попрощался со мной на немецком языке.

Я ничего не ответил.

Глава 2 Антифашисты

1 октября 1942 г.

Я пытался удержать равновесие, шагая по извилистой тропинке в болотистом лесу, сгибаясь пополам под весом неимоверно тяжелого рюкзака. Впереди шагали двенадцать офицеров-итальянцев, так же тяжело нагруженных, уставших и несчастных. Позади шагал конвоир с винтовкой на плече прикладом вверх, злобно бормотавший: «Сукины дети! Вперед, быстрее!»

Перед глазами у меня заплескали красные круги. Кровь стучала в висках, а загноившаяся рана, полученная 24 августа, причиняла сильную боль. Я подумал, что через сотню шагов выброшу свой рюкзак в болото и сам шагну туда же. Но потом я начинал отсчитывать следующую сотню, потом еще одну. Наконец мы вышли к опушке леса и растянулись на небольшом пригорке. Конвоир впереди отдал команду: «Стой! Halt!»

Все тринадцать человек со стоном облегчения бросились на землю. Мы закрыли глаза и жадно глотали воздух задохнувшейся грудью. Прошло какое-то время, прежде чем первый из нас скрутил сигарку из табачных листьев в тонкой полоске газетной бумаги. И снова мы почувствовали муки голода – жестокие позывы, которые заставляют некоторых жевать и глотать любую зелень, попавшую им в руки.

Я познакомился с итальянцами 7 сентября в пересыльном лагере для военнопленных на берегу Волги, куда попал после трех дней пути длиной 150 километров. Меня заперли на ночь в мерзлом подвале вместе с еще двумя летчиками-военнопленными, которых подозревали в намерениях бежать из плена. На следующий день из лагеря отправили первую группу: двести человек, которые ушли колоннами по четыре. В голове колонн поставили двенадцать итальянских офицеров, майоров, капитанов, лейтенантов, а впереди всех шел я – единственный пленный немецкий офицер. Так мы маршировали напрямик через степь в сопровождении 30–40 вооруженных до зубов солдат-красноармейцев. За сутки они заставили нас преодолеть примерно 70 километров. Потом нам дали отдохнуть несколько часов прямо на дороге, после чего мы прошли еще 40 километров примерно за двенадцать часов. Затем нам пришлось трое суток дожидаться на станции прибытия эшелона. Потом нас распихали по пятьдесят человек в каждый вагон. Большинство из нас уже успело заразиться дизентерией, и смерть начала пожирать свой урожай. В течение целого месяца путешествия нам выдавали ежедневно лишь ломтик хлеба размером с кулак и нечто на кончике ножа, что называлось сахаром. Если везло, то в поезде удавалось получить кружку воды, отдававшей машинным маслом. В этом направлении движение советских поездов было чрезвычайно плотным. Нашему эшелону часто часами приходилось простаивать на запасных путях. Эшелоны с войсками, боеприпасами, танками и другой техникой постоянно были видны через отверстия в скользящих горизонтально дверях вагона, через которые мы проталкивали наружу ведро с отходами.

Мне пришлось пожалеть, что во время обучения в военном училище я не проявлял особого интереса к тактике сухопутных войск. Но даже без этих знаний я мог представить себе, какую гигантскую армию перебрасывали теперь русские в район Сталинграда.

Наконец в то самое утро офицеров выгрузили из вагонов. У нас было всего несколько секунд на то, чтобы попрощаться с товарищами, попытаться сообщить им свои имена, оставить свой адрес. Потом дверь в вагон с лязгом снова захлопнулась, и наших товарищей повезли дальше. Поезд продолжил путь дальше на север, в направлении, в котором мы ехали предыдущие три недели. Мы не имели представления, где оказались. По моим подсчетам, это место

располагалось где-то западнее Волги, но другие возражали, что в таком случае мы успели бы заметить, как переезжаем реку.

После товарного эшелона мы проехали несколько часов в пассажирском поезде, но вскоре всем нам приказали снова выходить. Охранники заставили нас нести свой багаж, состоявший из неподъемных мешков с продуктами – хлебом, колбасой, сахаром, рыбой, салом, крупой – нашими пайками, которых мы так и не получили. Пройдя несколько километров, мы остановились на пригорке, о котором я уже упоминал. Я жадно пожирал глазами огромную равнину, растянувшуюся перед нами, пытаюсь определить, куда мы попали. Повсюду взгляд упирался в обширные картофельные поля, протянувшиеся между островками осеннего леса. Тут и там среди цветной листвы берез или темной тени хвойных деревьев тянулись вверх белые купола церквей. Подобно свечам вверх, в яркое осеннее небо, тянулся дым многочисленных костров, на которых люди жарили картошку. Это было похоже на Силезию или Померанию. Но я старался не думать об этом: тоска по дому может замучить до смерти.

Ко мне направился старший конвоя. Он носил синюю фуражку, указывавшую на его принадлежность к бригаде НКВД, которой поручалось охранять и конвоировать военнопленных.

– Вот, – проговорил он, указывая на одну из церквей, – лагерь находится в шести километрах. Там вы сможете поесть, помыться, побриться и выспаться.

Каждое слово он сопровождал соответствующим жестом, так что мы понимали все, что он говорил. Потом он что-то сказал своим подчиненным, и нам дали еду, да такую, о которой мы не могли думать даже в наших самых смелых мечтах. Но сначала нам пришлось заверить главного конвоира, что мы ничего не имеем против него, что с нами обращались достойно и что сам он хороший человек.

Вскоре наши мешки исчезли в близлежащей деревне. Конвоиры, которые отнесли их, вернулись с несколькими бутылками водки. Теперь нам стало понятно, почему нам пришлось голодать. Мысленно я уже приготовил в уме жалобу, с которой намеревался обратиться к коменданту лагеря.

По дороге в лагерь мы не встретили ни одной души. То место, как сказал нам мальчик-крестьянин, называлось монастырь Оранки, и находилось оно где-то близ города Горького (так в 1932–1990 гг. назывался Нижний Новгород. – *Ред.*) к западу от Волги. Вскоре мы подошли к воротам. По одному нас провели через караульное помещение на территорию лагеря. Охранники были очень злы, так как им не удалось найти у нас ничего такого, что стоило бы присвоить. Церковь монастыря, белый цвет которой казался таким манящим издалека, на самом деле оказалась мрачным полуразрушенным зданием, которое использовалось как сарай.

Пленные из этого лагеря принесли деревянные миски, деревянные ложки и два котла с супом и кашей. Они не сказали нам ни слова. Эти люди двигались как автоматы, усталой походкой теней, были одеты в оборванные мундиры. Они смотрели вокруг настороженными взглядами. В их присутствии даже залитая солнцем улица казалась мрачной и серой. Мы, вновь прибывшие, молчали, чувствуя себя неудобно. После того как с едой было покончено, к нам подошел человек в гражданском. На нем была поношенная фуражка с козырьком, а на крючковатом носе красовались очки с дужками, скрепленными проволокой. В кривых желтых зубах он держал карикатурно выглядевшую изжеванную трубку, потерявшую свой цвет. На мужчине было испачканное черное пальто с побитым молю меховым воротником.

– Все итальянцы? – спросил он на немецком языке.

Итальянцы указали на меня:

– Один немец.

– Пойдемте со мной, – приказал незнакомец. – Ваше звание?

– Лейтенант.

– О, офицер, – проговорил он, и в его голосе послышалось злобное торжество. – Вы выглядите не слишком элегантно. Где ваш мундир? Почему вы такой грязный?

После этих слов я потерял терпение.

– А как, по-вашему, я должен выглядеть, если все мои вещи, вплоть до носового платка, были украдены? Если мы не мылись целый месяц? Если меня обрили наголо, мы голодали три недели, потому что охране были нужны наши пайки, чтобы купить себе водку? Правда, прошлой ночью нам попытались заткнуть рот колбасой. Я протестую против такого обращения.

– Итак, вы протестуете. Ваше имя?

– Граф Айнзидель.

– А, вы тот самый парень, который написал листовку там, под Сталинградом, не так ли?

– Откуда вы знаете? – удивленно спросил я.

– Скоро вы узнаете откуда. А пока идите в баню и смойте вшей, а после этого спросите меня. Меня зовут комиссар Вагнер.

Но мне тогда так и не пришлось даже увидеть баню. За мной пришел конвоир, который повел меня в одно из зданий с толстыми стенами, где размещался монастырь. Он провел меня в подвал, поочередно открывая и закрывая мощные железные двери, а потом втолкнул меня в темную камеру. Слава богу, я оказался там не один. Десять дней заключения за то, что обменял деревянный ящик овсяной крупы на табак, получил унтер-офицер, работавший в лагерной кухне. Он благодарил ангела-хранителя за то, что получил это наказание. В камере было тепло, друзья с кухни не забывали о нем, ему не приходилось работать, а тут еще появился свежий человек, которому можно задавать вопросы.

– Когда кончится эта война? Попадем ли мы домой до Рождества? Правда ли, что русские вот-вот сдадутся?

Сначала я решил, что этот парень сумасшедший.

– Домой до Рождества? С чего вы это взяли? Война будет продолжаться еще несколько лет, и можно только гадать, кто в ней победит. Единственное, что понятно, – это то, что Германия потерпит поражение.

– Вы, наверное, антифашист, – заявил мой сокамерник. – Откуда вы взялись?

– Что такое антифашист? Я – летчик-истребитель, сбитый под Сталинградом месяц назад.

– Ну, если немецкие летчики уже летают над Сталинградом, то русским очень скоро придет конец.

– Там не только летают наши летчики. Может быть, сам город успел уже пасть. Когда меня взяли в плен, наши танки находились на самых подступах к нему.

– Ну вот, видите. Значит, скорее всего, к Рождеству все мы будем дома.

– Хорошо, – сдался я, – если вы так верите в это, то продолжайте так думать, но, полагаю, вам следует поздравить себя, если вы попадете домой к Рождеству 1944 года. И все же объясните мне, что вы понимаете под словом «антифашист». И кто тот человек в фуражке и разбитых очках, он еще хорошо говорит на немецком. Что происходит в этом лагере и почему остальные пленные не захотели говорить с нами, когда нас привели сюда?

– Мой дорогой друг, антифашисты – это люди, которые говорят примерно то, что говорите вы. Они считают, что Гитлер проиграет войну, занимаются с русскими всякими пропагандистскими штучками и всячески задирают нос. Того человека зовут Вагнер, они зовут его политическим наставником, комиссаром над пленными. Он освобожден от работ на кухне. И если кто-то скажет ему, что он против Адольфа, то его тоже начинают считать антифашистом. Поэтому здесь все предпочитают не разговаривать. Тут повсюду шпионы. Если кто-то распространяет слухи об успешном немецком наступлении, то он фашист. Эти люди издают здесь газету, которая называется «Свободный мир», но на самом деле в ней нет ничего от свободы. Там говорится о поражениях немецкой армии, о том, что в результате неудачного наступления она потеряла еще десяток дивизий. Ничего себе «неудачное наступление», если мы дошли уже до Волги! Надеюсь, что русские загнуты раньше, чем все мы здесь вымрем от голода.

– Умереть от голода? Здесь что, кормят так же плохо, как нас кормили по дороге сюда?

– Вы увидите сами: 400 граммов хлеба в день, две миски водянистого супа, 200 граммов каши и 20 граммов сахара. Это все, чем вы должны здесь довольствоваться.

(Этот паек полезно было бы сравнить с тем, что получали в 1941 и 1942 гг. советские военнопленные. Занятые на тяжелых работах получали 321 г хлеба, 29 г мяса, 9 г жиров и 32 г сахара. Итого около 900 ккал (при необходимых 3400 ккал; основной же обмен мужчины в покое 1700 ккал). Остальные (не занятые на тяжелых работах) получали 214 г хлеба, 16 г жиров и 22 г сахара. Итого 660 килокалорий (согласно приказу по вермахту от 8 октября 1941 г.). Однако автор в пайке для немецких военнопленных опустил 20 г муки второго сорта, 100 г рыбы, 20 г растительного масла, около 1 г суррогатного чая, 500 г картофеля и овощей, 10 г томатного пюре, 10 г хозяйственного мыла. Все это в дополнение к указанным автором 400 г хлеба и 100 г крупы (200 г каши?) – из директивы наркома внутренних дел от 25 августа 1942 г., до этого нормы были более объемные. – Ред.)

– А что такое каша?

– Это варево из овса или зерен пшеницы. Из-за этого кушанья антифашистов здесь называют «кашистами».

Конечно, я не мог представить себе визуально, сколько это будет – 400 граммов хлеба. Прежде мне никогда не приходилось питаться хлебом, выданным на вес. Но то, что говорил этот человек, рисовало не очень радостную картину. Итак, поскольку я верил в то, что немцы могут потерпеть поражение, я относился к антифашистам. В то же время я был и фашистом, так как рассказал, что немецкие войска стоят на подступах к Сталинграду. Какой из этого сделать вывод? Я не мог ничего понять без Вагнера.

– Вагнер русский? – спросил я.

– Нет, он немецкий коммунист. Его посадили в Моабит за убийство, но он совершил оттуда побег.

– Откуда вы все это знаете?

– Здесь все говорят об этом.

– Но почему коммунисты обязательно должны быть убийцами?

– А почему вы пытаетесь защищать их? Очень скоро вы узнаете, какие они на самом деле. Вагнер – свинья, можете передать это ему от моего имени. Когда мы выиграем эту войну, мы повесим его вниз головой.

– Надеюсь, что у вас не будет с этим особых хлопот, – засмеялся я.

– Кто вы на самом деле? В каком вы звании?

Я представился.

– Ну вот, видите, вы и есть антифашист.

– Почему?

– А разве это не вы написали ту листовку, где говорится, что мы проиграем эту войну, что русские обращаются с вами хорошо? А еще вы говорили, что Бисмарк всегда был против войны с Россией.

– Откуда вы все это знаете?

– Обо всем этом писали в «Свободном мире».

27 октября 1942 г.

Я провел в камере шесть или семь дней. По ночам меня вызывали на бесконечные допросы. Мне сказали, что для того, чтобы доказать, что я не настроен «недружественно» к Советскому Союзу, я должен раскрыть все известные мне военные секреты, иначе, поскольку я вел «подстрекательские речи» в лагере, мне придется остаться в камере навсегда. Оказывается, Вагнер доложил о моем протесте по поводу обращения с нами во время перевозки.

Во время допросов я продолжал протестовать против обращения со мной как на пути в лагерь, так и по поводу моего заключения в камеру. И это несмотря на то, что я давно понял, что нахождение в камере было гораздо приятнее, чем жизнь в огромном холодном, населенном многочисленными насекомыми карантинном помещении, куда попали итальянцы.

Наконец мне предоставили комнату с печкой и назначили 200 граммов хлеба сверх нормы. Здесь я должен был «отдохнуть» и написать «обо всем, что знал». Охранять и обслуживать меня назначили немецкого военнопленного, подчиненного Вагнера. Как он заверил меня, он тоже был антифашистом. Его лишили звания в вермахте за пьянство и грубость по отношению к вышестоящим офицерам, а потом направили в батальон штрафников. Батальон был разгромлен в результате русского наступления. После этого он стал дезертиром. По профессии этот человек был дорожным инженером. Однажды, когда он забыл запереть меня, я обнаружил в соседней с моей комнате планы, на которых он изобразил немецкие военные объекты на территории России. Все это он приготовил для русских. Чертежи базировались на информации, полученной от других пленных.

Наступил день, когда закончился и этот этап в моей жизни. Поскольку даже с помощью «дружеского отношения» из меня не удалось вытащить военные секреты, меня вышвырнули из комнаты и поместили в карантин вместе с итальянцами. А еще через три недели нас перевели оттуда в общий лагерь. В лагере было примерно четыреста офицеров: немцы, финны, венгры, румыны, итальянцы. Все жили в огромных неотапливаемых помещениях, при опасной скученности народа. Каждые несколько дней кто-то умирал от слабости. Продовольственный паек был близок к тому, чтобы просто не дать умереть с голоду. Мы постоянно хотели есть. Каждый шаг в условиях холодной и влажной русской зимы был настоящей пыткой для военнопленных в их тонких ветхих мундирах. У многих при пленении отобрали сапоги, и теперь беднягам приходилось довольствоваться деревянной обувью. Не было иголок и ниток, чтобы чинить одежду, которая рвалась при сборе картофеля на полях или заготовке дров в лесу. Для того чтобы высушить одежду, промокшую после пребывания вне помещения, требовались недели. Простудиться в таком состоянии означало верную гибель. По ночам людей, спавших так скученно, что им приходилось лежать на одном боку, атаковали полчища насекомых.

В данных обстоятельствах в выигрыше оказывался Вагнер¹.

По вечерам он всех приглашал на беседы, и те, кто приходил, получали назначение на работы на кухню или какое-нибудь другое поощрение. После того как человек был обласкан такими «подарками», Вагнер спрашивал у него, не желает ли он вступить в лагерную группу антифашистов. Если тот отказывался, то его тут же лишали всех подаренных привилегий.

¹ Через шесть лет, уже в Германии, мне удалось узнать, кем же на самом деле был Вагнер. Его настоящее имя Отто Браун, и эта личность была повсеместно известна благодаря на шумевшему в начале 1920-х гг. судебному процессу. В то время он играл видную роль в Коммунистической партии Германии, а также в шпионской сети Коминтерна. Воспользовавшись разногласиями в лагере русских эмигрантов между сторонниками профранцузской и прогерманской ориентации, ему и нескольким его соратникам по газете «Роте фане» («Красное знамя», немецкая газета (1918–1939), сначала орган «Союза Спартака», затем, с 31 декабря 1918 г., орган Компартии Германии. В 1933 г. была запрещена, выходила в подполье, в 1935 г. начала выходить в Праге, с 1936 по 1939 г. издавалась в Брюсселе. – *Ред.*) удалось провести незаконный обыск в доме одного русского полковника. Так в руки Брауна попали ценные материалы о деятельности антикоммунистического подполья в России. Из стола офицера немецкой службы безопасности, своего друга, он украл бланки с печатями на производство обыска. Но он подвел сам себя, забыв портфель с документами в такси. При последующем разбирательстве он объявил себя представителем ультраправой организации. В «Роте фане» сделали вид, что ничего об этом не знают. А его помощники театрально отказывались сидеть рядом с ним на скамье подсудимых. Но в дальнейшем, отбыв минимально положенный срок наказания, все они вместе торжествовали успех в том спектакле. Позднее Вагнер снова был арестован по обвинению в шпионаже, и, поскольку после этого большой скандал грозил разразиться в самой немецкой компартии, ее руководители практически вызволили Вагнера из тюрьмы Моабит и отправили в Советский Союз. Все документы дела, разумеется, остались в суде, и туда не было доступа простой публике. В Советском Союзе ему давали ряд заданий на Дальнем Востоке, но позже он впал в немилость и пропал. Во время войны этого человека решили вновь вытащить из забвения, но сам он считал, что ему нужно реабилитироваться перед хозяевами. Поэтому он не брезговал искажением фактов и давлением на заключенных, чтобы только отрапортовать наверх о многочисленных случаях «перевоспитания», которых ему удалось добиться.

Поэтому, как только человек получал приглашение на вечернюю беседу, можно было считать, что он уже готов капитулировать. Около лагеря располагалась школа антифашизма, в которой беженцы из Германии читали лекции по коммунизму. Время от времени нас, обитателей лагеря, заставляли посещать эти занятия.

Мне пришлось присутствовать на одном из них. Именно так я представлял себе заседания солдатских комитетов в 1918 году. Офицерский корпус принято было рассматривать как большое собрание преступников. Предлогом для такой неприязни и откровенной травли офицеров были искажения, грубые обобщения и упрощения выводов (в целом правильных) о моральном разложении, возникшем после оккупации почти всей Европы, сумасшедшей расовой теории (реверанс автора перед американскими издателями (хозяевами). – *Ред.*) и прочих бедствий, вызванных войной.

Единственным результатом таких занятий стало лишь то, что никто из тех, кто не желал ассоциироваться как союзник антифашистов-вагнеровцев, никогда не сказал ни слова критики в адрес режима Третьего рейха.

4 ноября 1942 г.

Мне пришлось провести десять дней в атмосфере, отравленной шпионажем и доносительством, завистью, предательством товарищей и открытой борьбой за выживание.

– Вставай, мы уезжаем! В машину! – кричали мне.

Мне не пришлось долго собираться: я лежал на своей койке в тонкой кожаной куртке. Зимним холодным утром меня отвели к воротам лагеря.

Мне не с кем было прощаться. Конечно, я встретил несколько знакомых по школе, военному училищу, по своей эскадре. Они с энтузиазмом выслушали мой рассказ о летнем наступлении, что вызывал у них сладкие мечты о падении Сталинграда, Баку, скорой победе и освобождении. Но стоило мне выразить свой скептицизм по этому поводу и признать, что я написал ту листовку без всякого давления на меня, как меня сразу же стали подвергать ostracismu как пораженца. Поэтому я покидал своих товарищей без сожаления.

3 ноября мы прибыли на Курский вокзал в Москве, усталые, измотанные, голодные, но все же полные желания посмотреть на столицу Советского Союза. К сожалению, нам не удалось увидеть ничего, кроме фасада вокзала, в здании которого нам пришлось провести несколько часов. Вокруг нас собралась толпа мальчишек с улицы, которых не могли заставить разбежаться даже гневные угрозы со стороны охранников из НКВД. Дети таращились на нас широко раскрытыми глазами, продолжая при этом жевать большие корки черствого хлеба. Наконец прибыл автобус зеленого цвета, в который нас погрузили.

Один из наших товарищей, которому уже доводилось бывать здесь раньше, уверенно заявлял, что сейчас нас отвезут в одну из московских тюрем, Лубянку или Бутырку, или, возможно, в лагерь, расположенный в 20 километрах к юго-западу (северо-западу. – *Ред.*) от Москвы, в промышленном городе Красногорске. После того как мы пробыли в дороге некоторое время и догадки насчет тюрьмы отпали, мы занялись едой, которую охранники неосмотрительно побросали к нам в темный отсек автобуса. Мне досталась коробка, очевидно предназначенная для конвоиров, и я запомнил, как кто-то заметил: «В тюрьме приходится есть колбасу без хлеба».

Когда нас выгрузили у ворот лагеря, наступил момент расплаты за этот разгул. На моем носу было большое масляное пятно, остальные продолжали что-то пережевывать набитыми ртами. Но мы только смеялись, глядя на рассерженные лица русских охранников, потому что даже у заключенного невозможно отнять то, что уже попало ему в желудок.

25 ноября 1942 г.

Лагерь № 27 являлся транзитным лагерем Центрального фронта (автор ошибается. Центрального фронта в указанное время не существовало (упразднен 25 августа 1941 г.). Очевидно, наш летчик имел в виду Западный фронт. – *Ред.*) и одновременно центром, где вели допросы в интересах московских разведывательных служб. Все военнопленные, которые, по мнению русских, представляли какой-то интерес, проходили через этот лагерь по пути в знаменитую Лубянскую тюрьму, где их подвергали тщательным допросам представители НКВД. Условия здесь были значительно лучше, чем в Оранках. Здесь коменданту удалось обуздать коррупцию. Не было бандитизма, восстаний солдат против офицеров и других проявлений злобы и насилия, характерных для офицерских лагерей. Близость к Москве, периодические визиты представителей немецкой компартии, ежедневные переводы из газеты «Правда», большая библиотека, частые прибытия новых заключенных – все это отвлекало наши умы от ежедневных забот.

В лагере было примерно сорок офицеров и сто солдат. Здесь были карантинные бараки, жилые бараки, госпитальный барак и церковь. И это все.

Среди офицеров был капитан Хадерман, организатор немецкой офицерской группы антифашистов. Он служил офицером еще во время Первой мировой войны и попал в плен после ранения в июле 1941 г. при патрулировании командного пункта артиллерийского дивизиона. В мирное время он преподавал классику и немецкий язык в средней школе в Касселе.

Офицерская группа начала работу весной, когда она направила обращение к военным служащим вермахта с призывом свергнуть Гитлера и покончить с войной. Но туда вступила всего пара десятков офицеров, даже притом, что самые злейшие недруги Хадермана не могли не признать, что это человек абсолютно честный, с цельным характером, очень прямой. Мне довелось провести многие часы в разговорах с ним при тусклом свете освещения нашего барака.

– Пугающими являются иллюзии, которые питает большинство наших товарищей относительно итогов этой войны, – говорил он. – В 1941 году, когда я попал в плен, мы шли все дальше на восток, к Москве. Тогда меня чуть не забили до смерти, когда я позволил себе усомниться в том, что русские, захватившие нас в плен, справятся с немецкой армией, даже если она окружит Москву. Сегодня обстановка ненамного лучше. Когда придет день и наше поражение станет очевидной вещью для каждого, всех ждет неприятное прозрение. Нацисты сумели убедить народ в том, что именно они являются Германией и что Германия падет вместе с ними. Именно с таким подходом мы должны бороться, даже находясь в плену. Мы должны попытаться дать нашим товарищам новые цели и новые надежды. Сейчас над нами смеются и называют предателями. Наши слова, выступления, листовки – все это пока не дает никакого эффекта. Но к следующему или, возможно, к 1944 году положение будет совершенно другим, и тогда даже здесь нам понадобятся люди, чтобы помочь преодолеть этот шок. И почему бы нам не сотрудничать здесь с Советским Союзом, самой большой страной цивилизованного мира? Пока никто еще не может сказать, что из этого получится. Но тот факт, что нам приходится рассчитывать только на себя, а в нашем отечестве правит преступный режим, способный на что угодно, заставляет нас принимать нестандартные решения.

Я тут же поспешил высказать свои сомнения:

– А как насчет Вагнера с его «кашистами», согладателями и дезертирами?

– Мы постараемся оградить себя от них, насколько это возможно. У нас нет другого выхода. Не можем же мы из-за этих людей вдруг превратиться в наци и начать горланить «Хорст Вессель». Вагнеры все равно будут делать свою работу, однако в наших силах попытаться мобилизовать обманутых людей и помочь им найти правильный путь.

– Очень многие говорили те же слова, когда оправдывали свою капитуляцию перед наци, – ответил я.

– Да, но сегодня это единственно возможный путь, именно сейчас, когда миром правит беззаконие. Как нам следует поступить? Мы больше не можем апеллировать к международному праву после того, как Гитлер сам нарушил его, перед лицом зверств, творящихся в Советском Союзе. Его преступные законы об обращении с советскими военнопленными, гражданскими лицами, евреями и комиссарами, а также тот факт, что он не признает нашего существования здесь как военнопленных, – все это создает ситуацию, когда мы должны чувствовать себя ответственными только перед лицом собственной совести.

Я не мог игнорировать его аргументы. У меня не было ничего общего с оголтелыми нацистами, которые видели будущее Германии только в связке с Гитлером. Но я не был согласен и со старыми и новыми коммунистами, которые, потеряв всякое чувство меры, признавали лишь один стандарт: в Советском Союзе все прекрасно, а повсюду за его пределами – плохо и неправильно. И все же нам предстояло выработать какую-то позицию, создать организацию, в которой легче было бы вынести тяготы плена. Власть, которая сегодня представляет Германию, и я уверен, что не на долгий срок, уже вычеркнула нас из списков своих граждан. И уже только это дает нам право самим помочь себе. Более того, мы находимся во власти государства, которое, нравится нам это или нет, представляет некоторые силы и идеи, что в будущем не смогут быть вычеркнуты одним мановением руки, о чем высокомерно твердили нацисты. С этими фактами нам следует считаться и заставить их работать в своих интересах.

Если бы меня застрелили, вместо того чтобы взять в плен, то это было бы ценой, которую судьба потребовала бы с меня за то, что я летал и воевал. И я никогда не боялся заплатить эту цену. Но случилось так, что я остался жив, и жизнь продолжается, несмотря даже на то, что Третий рейх теперь стал для меня лишь неприятным воспоминанием. Даже убежденные нацисты не желают стать самоубийцами. Тогда почему бы кому-то не сформировать группу, которая попытается работать, будучи лояльной к Советам, постарается развеять в умах людей туман нацизма и организовать на более широкой основе пропаганду против Гитлера, что будет в интересах немецких военнопленных в России? У меня не было никаких колебаний относительно того, чтобы присоединиться к тем, кто сделает эту попытку. В этом я не видел «предательства». Если кто-то и предал Германию, то это Гитлер и его банда, и для нас не существует другой альтернативы, кроме того, как смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Так я принял решение вступить в группу Хадермана.

5 декабря 1942 г.

Собрание в лагере. Тема: чтение специального выпуска Советского информационного бюро. Докладчиком был комендант лагеря полковник Воронов, широкоплечий здоровяк родом из Сибири, человек из тех, о которых русские говорят: «У него большое сердце». Он также обладал громоподобным голосом и внешностью медведя. Воронов никогда не игнорировал жалоб военнопленных и боролся с коррупцией, что позволяло сдерживать ее масштабы. Примерно двести человек в ожидании толпились в зале, поскольку это был первый раз, когда русское военное коммунистическое должно было зачитываться перед военнопленными. На стенах все еще висели лозунги, призывавшие к встрече 25-й годовщины Октябрьской революции: «Красная армия – самая прогрессивная сила в мире!», «Смерть немецко-фашистским захватчикам!».

Наконец Воронов вошел в зал. Его заявления и в самом деле стали настоящей сенсацией. Вдоль реки Дон и южнее Сталинграда русские перешли в наступление и, как сообщалось, окружили в районе Сталинграда двадцать две немецкие дивизии.

«Будет и на нашей улице праздник!» – заявил Сталин в своей речи 6 ноября. Если то, что говорилось в коммюнике, было правдой, то его обещание сбылось очень скоро.

Но я был настроен скептически. Когда Воронов спросил нас, что мы думаем по поводу этой новости, я заметил:

– Пока меня перевозили из лагеря в лагерь, мне удалось кое-что узнать о диспозиции ваших армий. Обстановка под Сталинградом обуславливала необходимость проведения подобной операции. Но мне кажется, что слухи об окружении двадцати двух дивизий явно преувеличены. Вероятно, здесь приведены данные о взятии пленных из всех этих немецких дивизий, а мы здесь думаем, что они попали в окружение. В советских сводках всегда любили искажать факты, когда речь шла о силе немецких соединений и своих собственных потерях.

Полковник улыбнулся:

– Все же вы еще наполовину фашист.

– А какое это имеет отношение к фашизму? – парировал я. – Просто я считаю, что маловероятно, чтобы немецкое командование не смогло предусмотреть и избежать этой угрозы. Любой человек, обладающий чувством здравого смысла, должен был заметить, что там происходит, и внести соответствующие изменения в военные планы. Я уверен, что при умело организованном наступлении атакующий никогда не оставит фланги неприкрытыми. Это чисто военный, а не политический вопрос.

– Хорошо, – ответил полковник, – через пару недель мы вернемся к этому разговору.

Глава 3 Национальный комитет

3 марта 1943 г.

Несколько недель мне пришлось провести в лазарете лагеря № 27. Меня доставили туда в полубессознательном состоянии с сумасшедшей головной болью. Я беспомощно лежал на койке среди других пациентов из Великих Лук, каждый из которых после тифа или малярии стал похож на скелет, как и я. (В ходе кровопролитной Великолукской наступательной операции 24 ноября 1942 – 20 января 1943 г. Красная армия взяла Великие Луки, перерезав важную железную дорогу, связывавшую группы армий «Север» и «Центр», а также сковала здесь силы немцев, не дав перебросить ни дивизии на Сталинградское направление. Немцы потеряли здесь более 59 тыс. убитыми и ранеными, 4 тыс. пленными, 250 танков, 770 орудий и минометов и др. Потери советских войск: 31 674 чел. безвозвратные и 72 348 санитарные, всего 104 022 чел. – *Ред.*) Палаты не отапливались. Жидкий суп из капусты и заплесневелый хлеб замерзли до состояния камня. Почти все пациенты лежали на койках по двое, каждый грел своим телом товарища, чтобы оба не замерзли насмерть, и все равно случалось так, что утром один из больных лежал рядом с трупом.

В моменты просветления, открыв глаза, я замечал склонившуюся надо мной доктора-блондинку, которая спрашивала:

– Как вы, Айнзидель? Я хочу, чтобы вы боролись за свое выздоровление.

Как же бережно ухаживала за нами эта женщина-еврейка, чей единственный сын погиб в первый год войны.

Без лекарств, тепла, средств для проведения медицинских осмотров и диагностики, своей добротой и самоотверженностью она сумела спасти множество жизней.

В нашей палате главной темой разговоров все еще была Сталинградская битва. В начале февраля полковник Воронов зачитал нам новость о капитуляции под Сталинградом 6-й армии. Он назвал имена примерно двадцати генералов и нескольких десятков полковников, которые, как сообщалось, были взяты в плен. В декабре в лагерь прибыло около семидесяти румынских штабных офицеров, которые сообщили нам свежие новости. После этого весть об успехах русских уже не звучала для нас как нечто невероятное. Еще раньше на Сталинградский фронт отправился Хадерман, а с ним – еще несколько немцев-эмигрантов и два наших товарища из числа военнопленных, которые должны были обеспечивать пропагандистскую поддержку Советской армии, предлагая остаткам немецкой 6-й армии капитулировать. Но мы, оставшиеся в лагере, продолжали спорить по поводу настоящих масштабов той битвы. Ведь 300 тысяч солдат, двадцать две дивизии должны были вырваться из любого окружения. И если теперь русское превосходство стало таким, что это сделалось невозможным, то не каждый генерал решится пережить катастрофу, постигшую его дивизию. Во всяком случае, в прусско-немецкой армии в прошлом ничего подобного не происходило.

– Я должен сам увидеть тех генералов, прежде чем смогу поверить в это, – заявил я Воронову в разговоре с ним после митинга.

Он просто рассмеялся в ответ:

– Скоро все они будут здесь, об их прибытии уже всем известно.

Так и произошло.

В нашу комнату зашел ординарец, который доложил, что в лагерь прибыли генералы, взятые в плен под Сталинградом, а также триста офицеров из 6-й армии. Я был слишком слаб, чтобы в очередной раз изумляться тому, что еще несколько недель назад считал невозможным.

Один из моих соседей по палате с помощью ножа соскоблил с оконного стекла два сантиметра ледяной корки. С помощью товарищей мне удалось сесть, и я получил возможность наблюдать через окно за дорогой в лагерь. То, что я увидел, было одновременно зловещим и невероятным зрелищем. Широко размахивая руками, с улыбками на лице генералы заселялись в отведенные им квартиры. Они сверкали наградами и моноклями, опирались на трости, отсвечивали алыми подкладками шинелей. Все они были обуты в валенки или в сапоги из лучшей кожи. И только изредка в эту величественную живописную картину попадали серые пятна и сгорбленные фигуры «старых» обитателей лагеря, в поношенных русских или изорванных немецких мундирах и стянутыми проволокой кусками тряпок вместо обуви на ногах, с истощенными лицами и выражением безнадежности во взгляде.

Нам сказали, что этих генералов привезли в Красногорск из Сталинграда в особом поезде, в спальнях вагонов и белых простынях на кроватях. Все мы, старые заключенные, с выражением недоверия на лицах выслушивали истории об изобилии сгущенного молока, масла, икры и белого хлеба на всем их пути в лагерь. И все же некоторые из вновь прибывших, как оказалось, уже были заражены тифом.

Я бросил взгляд на груды багажа, среди которого были особые чемоданы, которые фирма «Мерседес» специально изготавливала для старших офицеров, разъезжавших на ее автомобилях. Истощенные пленные почти падали под тяжестью этих чемоданов, когда переносили их в комнаты, где поселились генералы. Я снова упал на свою койку. Новый приступ лихорадки избавил меня от тяжелых мыслей по поводу того, что я только что видел.

6 мая 1943 г.

В последние недели, когда я медленно приходил в себя после болезни, произошли две вещи, которые привели к новому этапу в развитии деятельности антифашистских групп в лагере. В газете военнопленных «Свободное слово» появился отчет о нелегальной мирной конференции в Западной Германии, в работе которой, как говорилось, принимали участие представители всех социальных классов и организаций оппозиции. Там была принята программа совместных действий против режима Гитлера. Судя по тону, статья была написана немецким коммунистом, эмигрировавшим в Москву. После нее в лагерях для военнопленных прошел целый ряд митингов, на которых впервые в конкретной форме была выдвинута для обсуждения идея создания Народного фронта против Гитлера.

Вскоре после этого меня навестил в лазарете комиссар лагеря советский майор Штерн. Он просил меня подготовить заявление, в котором я торжественно обещаю искренне сотрудничать с Советским Союзом в борьбе против Гитлера. Кроме того, майор Штерн посоветовал мне сделать все, что в моих силах, чтобы добиться откровенного разговора с офицерами, попавшими в плен под Сталинградом. Как он заявил, было важно использовать шоковое состояние, в котором они пребывали после разгрома под Сталинградом, для того, чтобы втянуть их в политическую борьбу с фашизмом.

Но для меня не могло идти и речи ни о чем подобном. Я был единственным офицером в лагере, о котором все знали как о члене антифашистской группы, поэтому офицеры, прибывшие из Сталинградского котла, единодушно подвергали меня остракизму. Если кто-то из них отвечал на мое приветствие или заговаривал со мной, остальными это воспринималось как вызов их корпоративной этике. Даже те из них, кто резко критиковал манеру Гитлера вести эту войну, и в особенности его предательское поведение по отношению к армии под Сталинградом, никогда даже не обсуждали идею открыто выступить против фюрера. Слишком грубые попытки повлиять на них со стороны некоторых членов антифашистской организации лишь укрепили их в этом мнении. Инструкторы школы антифашизма, переместившейся поближе к лагерю № 27, считали самым большим успехом своей «воспитательной деятельности» нашу-

мевший марш их питомцев мимо Паулюса и его генералов в лагерь, который сопровождался пением Интернационала и шумными оскорбительными выкриками.

В то же время было видно, что Москва явно уже давно пыталась привлечь Паулюса и его подчиненных к политической борьбе с режимом Гитлера.

2 июня 1943 г.

В середине мая генералы и почти все офицеры были переведены из лагеря № 27 в знаменитый монастырь в Суздале (Спасо-Евфимиев. – *Ред.*), расположенный примерно в 230 километрах от Москвы. Теперь в лагере оставались только румыны, итальянцы и венгры. При этом здесь почти не осталось офицеров, число которых, впрочем, постоянно росло за счет тех, кто прибывал сюда после окончания допросов на Лубянке.

Зима, голод, холод, болезнь, страх перед эпидемиями, а также морально угнетенное состояние, вызванное всеобщим молчаливым игнорированием со стороны офицеров, прибывших из-под Сталинграда, – все это прошло, как кошмарный сон. В лагере снова стало спокойно и тихо. На улице светило солнце. По другую сторону забора здесь располагалось небольшое озеро, на берегу которого резвилась красногорская молодежь, так же как когда-то мы в Германии. Я почти восстановился после болезни и снова мог делать по десять наклонов до пола без появлявшейся перед глазами черноты.

Но остался страх за будущее и за судьбу моей страны. Было ясно, что теперь Германия все скорее двигалась к своему поражению. Но каким будет ее конец? Сталинград показал, до чего может довести упрямство Гитлера. Действительно ли он готов сражаться с остатками последнего немецкого батальона на развалинах последнего немецкого города?

С обеих сторон с каждым новым днем войны росли взаимная ненависть, озлобление и жажда разрушения, а с ними и жертвы. Неужели в Германии и в самом деле нет никого, кто мог бы остановить все это сейчас, когда безумие становится все более очевидным? Есть только одна группа, которая была бы в состоянии сделать это, – офицерский корпус и представители Верховного командования. Им подчиняются вооруженные силы, они точно видят развитие ситуации. У них есть организация и знания, которые помогли бы им выполнить свой долг. Или Сталинград, пример бездумного следования приказам Гитлера, независимо от их последствий, был лишь очередным актом драмы, начавшейся после убийства Шлейхера (1882–1934, генерал, предшественник Гитлера на посту рейхсканцлера (конец 1932 – январь 1933 г.), убит по приказу Гитлера во время «ночи длинных ножей», когда ликвидировали Рема и др. – *Ред.*), драмы постепенной капитуляции вермахта перед противником?

Даже здесь, в лагере, немногие высказывали свое недовольство диктатором, даже перед лицом того, что испытали на собственном опыте. Многие из них считали, что жертва 6-й армией была оправдана как с моральной, так и с военной точки зрения. Они даже все еще верили в «звездную судьбу» Гитлера, в то, что он вот-вот снова поведет Германию к очередным победам. Как-то, наворачивая круги при испытательном полете, русский бомбардировщик, взлетевший с аэродрома, расположенного по соседству с авиазаводом, неожиданно вдруг оставил за собой клуб дыма. Некоторые из офицеров-зенитчиков после этого уверяли, что причиной послужил немецкий самолет-разведчик, выполнявший засечку целей в промышленных районах Красногорска для немецкой дальнобойной артиллерии. Никто даже не возразил в ответ на это абсурдное заявление. А армейский майор-кадровик под аплодисменты окружающих заявил мне, что до этого Германия лишь прикасалась к России одним пальцем, но теперь, после тотальной мобилизации, она обязательно ударит всем кулаком. И я буду поражен тем, как скоро окажусь на виселице.

Если примерно такие же разговоры велись и в самой Германии, то, скорее всего, нечего было надеяться на то, что среди генералов и офицерского корпуса появится оппозиция режиму.

* * *

Убежище от всех этих черных мыслей я искал в книгах по марксизму и ленинизму лагерной библиотеки. Еще прошлой зимой Хадерман подготовил что-то вроде графика моих занятий, чтобы помочь мне поскорее сориентироваться в этом учении. Больше всего меня поразило во всем прочитанном то, насколько вся мировая история, особенно за последние сто лет, привязана к техническому и экономическому развитию. На самом деле я не считал себя великим знатоком истории и не думал, что мог судить, действительно ли фактический материал всех этих теорий являлся достоверным. Но для именно этого исторического периода моих знаний оказалось достаточно. Я был буквально поражен тем анализом, который в свое время смогли проделать Энгельс и Ленин, и сделанными на его основе выводами, зачастую почти пророческими, а также всеми прогнозами, что содержатся в их учении.

Наконец я нашел ответ на вопрос, который задавался в сотнях разговоров, споров и дискуссий о природе нацизма, о том, была ли эта война неизбежной. Не могла ли Германия найти какой-либо другой путь для преодоления кризиса 1929–1932 годов, вместо того чтобы пытаться получить политическое могущество силой оружия?

Никто не мог ответить на него. А невозможность дать ясный недвусмысленный ответ была главной причиной, почему мы, вместо того чтобы решительно покончить с нацизмом, единодушно и самоотверженно бросились воевать на его стороне.

Независимо от того, увенчается ли успехом социальный эксперимент в Советском Союзе, нам, немцам, не хватало марксистской теории для того, чтобы эффективно бороться с нацизмом. Кроме того, нам не хватало той ясной светлой цели, которую имели коммунисты, а также практических рекомендаций, пояснявших, как решить внешние и внутренние политические проблемы, как бороться с кризисами и массовой безработицей. Одной только моральной решимости недостаточно для борьбы с нацизмом, в особенности если ты не можешь предложить взамен более привлекательной альтернативы.

Именно поэтому идеи коммунизма показались мне очень убедительными. Честно говоря, я обнаружил, что совершенно незащищен против них. Я не видел ни другой силы, ни другой идеи, которая давала бы более позитивную и реалистичную картину будущего. Церковь? Демократия? Но были ли они способны предотвратить или остановить катастрофы, сотрясавшие наш мир? И есть ли хоть малейший признак того, что им удастся это в будущем? Я в это не верил.

Единственный факт, настороживший меня, заключался в том, что и в Советском Союзе, и в Третьем рейхе существовало слишком много похожих вещей: повсюду всепроникающая пропаганда, которая с такой безвкусной банальностью и нарочитым национализмом была характерна для нацистского восприятия действительности; фанатизм, с которым те и другие защищали свои идеи, которые считали единственно верными; царящее повсюду доктринерство, сведение всех и вся к единой примитивной массе; незаслуженное влияние, которое получали партийные фавориты, а также всепроникающая коррупция.

Конечно, сложно было оценивать что-либо, находясь в лагере для военнопленных. Я заранее прошу прощения за возможно необоснованные выводы. Еще до плена меня часто раздражали откровенная ненависть и неприязнь, сквозившие в высказываниях многих офицеров, которые видели в Советском Союзе только плохое. Сейчас кое-кто подталкивал меня к тому, чтобы я занял прямо противоположную позицию.

Вряд ли стоит отрицать факт, что многое из того, что нам здесь не по вкусу, можно связывать с более ранней историей и общественным строем России, к вековому застою на этих обширных землях. Наверное, стоило организовать здесь революцию, чтобы создать новую элиту, настоящий класс вождей. Сейчас, во время войны, русские сильно менялись. Они признали культурные ценности прошлого, отказавшись от «революционного» процесса всеобщего нивелирования. Возвращение в армию погон, возрождение исторической памяти о Кутузове, Суворове, Петре I Великом и Иване Грозном являются лишь некоторыми признаками этих перемен в сознании.

Я верил в то, что после войны в Советском Союзе подует свежий ветер, который позволит этой стране идти по пути экономического, технического и культурного прогресса, как это делается на Западе, чтобы исчез тот постоянный страх погибнуть под ударами мощной коалиции капиталистических государств. Эта страна станет более свободной в интеллектуальном и идеологическом смысле. Главной целью коммунизма, как это ясно объявлялось, является, в конце концов, покончить с самим государством, с его тайной полицией, партией, армией и министерством пропаганды (в трудах основоположников, то есть Маркса, Энгельса и Ленина. Первые были далеки от практики, последний «учился на ходу», меняя свои кабинетные воззрения. Новое государство со всеми его атрибутами все равно было построено, но процесс взросления «революционных недорослей» обошелся России в десятки миллионов жертв, разграблением и разорением. – *Ред.*).

Если бы в конце 1933 года к власти в Германии пришел не Гитлер, а коммунисты в союзе с социал-демократами, им пришлось бы столкнуться в стране с гораздо меньшими проблемами, чем те, что стояли перед русскими в 1917 году. Многое здесь зависит скорее от того, насколько готова поддержать революцию интеллигенция, нежели от того, какие реки крови вы готовы пролить в борьбе за нее. Возможно, здесь необходимо просто преодолеть неприязнь, которую каждый мыслящий человек испытывает к примитивной, грубой и необразованной массе, чтобы поднять ее на более высокий уровень.

17 июня 1943 г.

Несколько дней назад в лагерь прибыли два коммуниста-эмигранта – Вальтер Ульбрихт и Эрих Вайнерт. Они пригласили нескольких офицеров на митинг, в том числе бывшего члена «Стального шлема» (военизированная организация, созданная в 1918 г. В 1928 г. насчитывал 1 млн чел. В 1933 г. слился с гитлеровскими штурмовыми отрядами. – *Ред.*) и функционера пангерманского общества подполковника Бредта, майора Шульца, который когда-то работал в Америке журналистом, международного коммерсанта майора Бюхлера, археолога доктора Грейфенхагена, офицера штаба люфтваффе Тренкмана, бывшего летчика-испытателя на полигоне в Рехлине (в 100 км к северо-западу от Берлина. – *Ред.*), офицера кавалерии капитана Домашка, награжденного многими высшими наградами, и еще нескольких человек. В основном эти люди трезво оценивают обстановку в Германии и, несмотря на то что не объявляют себя прилюдно антифашистами, принимают участие в политических диспутах и собраниях, которые организуют инструкторы и учащиеся школы антифашизма в лагере.

Коммунисты выдвинули план создания Национального комитета, который должен будет объединить людей с различными политическими убеждениями, профессией, принадлежащих к разным классам, в общей борьбе против Гитлера. Комитет должен был организовать движение Сопrotивления режиму Гитлера на территории Германии, для чего будут использованы радиопередачи, печатные издания, листовки, отправлены представители за линию фронта.

Вскоре между участниками совещания начались бесконечные споры. Большинство офицеров считали предложения коммунистов слишком долгосрочными. Их идея состояла скорее в том, чтобы вести в общих целях воспитательную работу среди военнопленных. Они пред-

лагали возродить отдание в лагере воинского приветствия, составить списки погибших офицеров (о людях других званий ничего подобного сказано не было), организовать отправку и получение писем из Германии. Вот и все основные пункты их программы. Политическая цель формулировалась так: «Против Адольфа Гитлера и за демократическую республику!» Слово «борьба» предлагалось тщательно избегать как выражение анархии и призыв к гражданской войне. Ульбрихт, которому не хватало гибкости и умения вести переговоры, несколько раз чуть не добился прекращения дискуссии, монотонно повторяя коммунистические лозунги. Наконец Вайнерту благодаря его умению примирять стороны удалось убедить офицеров подготовить проект манифеста, который должен был служить теоретическим символом комитета, а также организовать общий митинг для военнопленных. На митинге мы торжественно утвердили текст манифеста, который планировалось опубликовать в газете «Свободное слово». Но многие офицеры отказались ставить подписи под манифестом. Они вдруг испугались заходить так далеко в своем предательстве.

2 июля 1943 г.

Опубликовано предложение о создании комитета. На нем стоят подписи Хадермана и нескольких других антифашистов, которые, впрочем, не знали о том, что их подписи стоят на документе, представляющем собой «историческую инициативу», поскольку в момент его принятия находились в других лагерях, где пытались вербовать в комитет новых сторонников.

Когда я спросил одного из преподавателей школы антифашизма о причине такой поспешности, тот ответил, что в Москве опасались, как бы на Западе не опередили в этом Советский Союз.

Через несколько дней из других лагерей прибыли первые группы антифашистов для участия в создании комитета. Все называли их «делегациями». Но кого представляли эти делегаты? В офицерских лагерях выступили против создания комитета, а о том, что думают в лагерях для солдат, никто не знал. За готовностью «делегатов» поставить подписи под любой политической резолюцией и их антигитлеровскими лозунгами легко угадывалось глубокое безразличие, а иногда – просто отчаяние, вызванные трудностями жизни в лагере для военнопленных.

Хадерман вернулся из Суздаля. Он приехал ко мне в лагерь № 17 и спросил, готов ли я принять предложение стать членом президиума комитета. Он сказал, что назвал мою кандидатуру, и коммунисты не были против, но я решил подумать, готов ли идти этим путем. Конечно, я не сказал «нет». Наконец что-то должно произойти. Многого ли нам удастся добиться через этот комитет, известно одному Богу, но в любом случае это попытка спасти то небольшое, что еще можно спасти.

6 июля 1943 г.

Вчера меня отвезли в школу антифашизма, где уже находились другие будущие члены комитета. Среди них было два лейтенанта, уже окончившие школу и теперь считавшие себя настоящими коммунистами, несколько делегатов из солдатских лагерей, в основном когда-то состоявших в рабочих партиях, а также совсем немного майоров и капитанов из трех офицерских лагерей: артиллерийский офицер Генрих Хоман, сын главы судоходной компании и активный участник студенческих кружков, два майора-инженера – Карл Гетц и Герберт Штослейн, аудитор из Брауншвайга капитан Флейшер, школьный учитель из Берлина Фриц Рюкер, бывший банковский служащий и член «Стального шлема» майор Крауснек и, наконец, активный молодой человек капитан Штольц.

Они рассказали, что после тяжелых лишений и голода две с половиной тысячи офицеров сталинградской армии наконец прибыли в лагеря для военнопленных в Оранках и Елабуге. В течение нескольких месяцев в этих лагерях свирепствовал тиф, и поэтому голод, эпидемии и дорогу сумело выдержать примерно около половины их обитателей. Смерть отступила только после окончания зимы, в апреле и мае, когда неожиданно увеличили нормы питания. Хлебный паек увеличили до 600 граммов. Офицеры стали получать ежедневно по 70 граммов масла и 60 граммов сахара, при этом рядовому составу выдавали не менее 20 граммов. Больные получали сгущенное молоко и яичный порошок. Количество других продуктов питания тоже было увеличено. Ходили слухи, что эти меры были приняты по прямому указанию Сталина, который после падения Сталинграда затребовал доклад о состоянии дел в лагерях для военнопленных. Говорили, что нескольких высокопоставленных сотрудников НКВД постигла участь козлов отпущения: их ликвидировали за высокую смертность в лагерях военнопленных. Ходили также слухи о том, что судьбу всей администрации фроловского лагеря решал трибунал и наказание было жестоким. В том лагере за несколько недель умерло 4 тысячи пленных из общего количества 5 тысяч. Чем больше было расстояние, на котором лагеря находились от Москвы, тем меньше там заботились о создании для военнопленных приемлемых условий для жизни. После улучшения условий смертность среди военнопленных из Сталинграда вдруг снова увеличилась: истощенные люди не смогли выдержать резкого увеличения пайка.

По свидетельствам выживших, которые говорили примерно одно и то же, из примерно 90 тысяч солдат и офицеров, захваченных в плен под Сталинградом, 60 тысяч остались лежать там же в братских могилах. Даже по самым оптимистичным оценкам, в живых осталось не более 15 тысяч человек. За исключением небольшого количества высших штабных офицеров, пленники были настолько ослаблены и заражены таким количеством болезней, что, попав в плен, они были не в состоянии выдержать даже первые несколько недель неволи. Кроме того, вся территория вокруг Сталинграда была разрушена, там не осталось практически ни одного убежища. Ближайшая неразрушенная железнодорожная станция находилась на расстоянии примерно 90 километров. Очевидно, помня

об отказе немцев капитулировать и приказе открывать огонь по любым советским военнослужащим с белым флагом в руке, советское Верховное командование чувствовало обоснованные опасения, что вряд ли в плен попадет большое количество солдат и офицеров противника. После того как эпидемия тифа пошла на убыль, в мае и в июне, условия содержания пленных несколько улучшились. А увеличение продуктового пайка позволило людям хоть немного восстановить свои силы.

По рассказам офицеров из лагеря в Оранках, предложение о создании Национального комитета там было встречено жестким отказом. Вагнер стяжал всеобщую ненависть тех, кто попал в плен в 1941 и 1942 годах, за запугивание и моральную развращенность. Это отношение конечно же нашло отклик в душах пленных из-под Сталинграда гораздо быстрее, чем пропаганда антифашизма и уговоры русских.

В лагере № 97 в Елабуге, где содержались только пленные из-под Сталинграда, антифашистская группа была только что создана. И из примерно восьмисот офицеров присоединиться к ней согласилось всего несколько десятков.

Капитан Хадерман решил лично направиться в Суздаль. И все же, несмотря на то что тамошний контингент состоял в основном из штабных офицеров, которые в русском плену жили лучше всех остальных и вряд ли имели основания жаловаться на условия содержания, мало кто откликнулся на его призывы. Взрыв ярости против Гитлера, родившийся в первые недели и месяцы плена, давно сошел на нет. К тому же лето и теплые солнечные лучи породили надежды на новые победы вермахта, что нашло отражение в самых безумных слухах. Некоторые якобы даже слышали ночью звуки огня артиллерии, что свидетельствовало о приближении фронта.

Еще меньший успех сопутствовал спутнику Хадермана профессору Арнольду, тайному функционеру Коминтерна, о происхождении и прошлой жизни которого никто ничего не знал. Это был низкорослый горбун с жалобным голосом и скособоченной головой причудливой формы. Его внешнего вида и факта принадлежности к евреям было достаточно для того, чтобы с самого начала сделать его смешным в глазах офицеров. Арнольду не помогли даже блестящее знание немецкой истории с древних времен до наших дней и не менее блестящий анализ политики и стратегии Адольфа Гитлера. Подавляющее большинство офицеров было слишком убеждено в собственных славных подвигах, чтобы дать вовлечь себя в серьезные интеллектуально-политические дискуссии. А те из них, кто смотрел на события более трезво, все же позволили себе подчиниться мнению большинства.

Резкому отказу от сотрудничества в немалой степени способствовало присутствие в Суздале пленных генералов, хотя они и не были так едины во мнениях, как пытались это показать. Бывший председатель Верховного военного суда генерал-полковник Гейтц стал негласным лидером мощной группы прогитлеровского толка. А молодой командир дивизии Латман, который еще во время учебы в артиллерийском училище в Йютербоге (к югу от Берлина. – *Ред.*) был известен своими откровенно нацистскими взглядами, стал его правой рукой. Во время жестокого спора с кем-то из коллег-генералов, назвавшего в частном разговоре Гитлера «преступным дилетантом», Латман заявил: «Поскольку мы не восставали против него раньше, то у нас нет права на обвинения теперь, когда события стали идти не так, как нам бы хотелось». Все эти люди единодушно отвергали даже саму идею создания комитета. Помимо общего принципиального возражения, основанного на том мнении, что нарушить присягу Гитлеру означает поступиться принципами офицерской чести, эти люди присоединились к мнению фельдмаршала Паулюса, который твердил, что, сидя в лагере для военнопленных, невозможно составить для себя ясной картины действительности. Он допускал вероятность того, что люди Гитлера сумеют раскрыть заговор против него или внести раскол в ряды его противников. Но даже если ничего подобного не произойдет, все действия против Гитлера должны предпринимать военные, оставшиеся на территории Германии.

Наши контраргументы о том, что Гитлер сотни раз предавал интересы немецкого народа, что автоматически освобождает нас от присяги ему, были бесполезны. Пленные отказывались прислушиваться и к словам о том, что только не нацистская Германия могла бы использовать в своих целях противоречия между союзниками. А пока было бы полным нонсенсом надеяться свести эту войну вничью при подавляющем превосходстве в мощи союзников – Англии, Америки и Советского Союза. Тщетно мы пытались доказать, что офицерам, находящимся внутри Германии, следует поспешить с организацией сопротивления Гитлеру. Кроме того, им придется срочно преодолевать сложившиеся политические мифы и психологическую поддержку, которой Гитлер до сих пор пользуется, рассказав народу Германии правду о сложившейся военной обстановке. Было бы крайне важно, настаивали мы, на собственном примере воодушевить всех противников режима, независимо от их политических убеждений, объединить свои усилия в борьбе за его свержение. Только этим можно было добиться успеха в борьбе. Но все наши аргументы разбивались о стену иллюзий, которую возвели вокруг себя офицеры и генералы, об их страхе взять на себя ответственность.

Кто были эти люди, что вдруг оказались в школе антифашизма и участвовали в создании комитета? Прежде мне не доводилось встречаться в школе с теми лейтенантами-коммунистами. Харисий, летчик-истребитель, и Рейхер, старый фельдфебель еще времен рейхсвера, позже командовавший саперной ротой, помогали создавать антифашистскую группу среди офицеров. Берндт фон Кюгельген был журналистом, Келер – почтовым служащим, лейтенант люфтваффе Вилме – все они прошли через руки Вагнера.

Майор Хоман оказался интересным и остроумным собеседником. Представители гамбургских деловых кругов, откуда он вышел, никогда особенно не разбирались в основанной на автаркии нацистской экономике, а также в военной политике Гитлера. Они знали, что в любом случае им придется платить по счетам. Как оказалось, Хоман служил в полку, среди офицеров которого были особенно сильны оппозиционные настроения по отношению к режиму.

Капитан Флейшер, как казалось, по своей природе был скептиком и пессимистом. К тому же этот человек был ходячей энциклопедией по вопросам экономической статистики. Прежде он был членом демократической партии. Он давно считал, что Гитлер своим дилетантским подходом приведет страну к катастрофе.

С Рюкером и Крауснеком я был уже знаком. Это были командир и адъютант батальона ландштурма, попавшие в плен под Великими Луками в январе.

– Моя жена всегда говорила мне, что однажды мне придется расплачиваться за Гитлера собственной кровью! – заявил нам Рюкер с характерным берлинским акцентом, когда они с Крауснеком прибыли в лагерь № 27. В большой, не по размеру, обуви, очками с дымчатыми стеклами, торчавшими на носу, кепке с солнцезащитным козырьком и зимней куртке он походил на маленького гнома. Вид этого человека одновременно пугал и изумлял меня. – Они избили меня, когда я отказался поднять над зданием школы знамя со свастикой, – продолжал он, – к тому же для них я был «ноябрьским преступником»² и бывшим социал-демократом. Поэтому меня избили и вышибли вон.

Несмотря на то что во Франции их батальон не успели в достаточной мере обучить и экипировать для выполнения задач по обороне железнодорожных путей, их послали в бой против батальонов танков. Не успев понять, что происходит, и оправиться от первого шока, эти два ветерана Первой мировой войны увидели, что батальон смят, а сами они находятся среди русских. Поэтому этих двоих оказалось довольно легко убедить присоединиться к антифашистской группе лагеря № 27.

Митинг, посвященный созданию комитета, был назначен на 12 или 13 июля. Несмотря на это, никто из нас до конца не знал, какой именно будет политическая платформа комитета, которую озвучат на публике. Коммунисты привезли с собой из Москвы предложение-проект, но его слова и лозунги больше подошли бы для митинга солдатского комитета компартии, нежели для Национального комитета свободной Германии. Те из офицеров, кто не считал себя коммунистом, в резкой форме отвергли этот проект. После ожесточенных споров между коммунистами и офицерами-некоммунистами наконец был согласован окончательный текст. В результате споров было решено сделать акцент на стремлении сохранить национальную целостность, которой угрожает гибельная политика и стратегия Гитлера. В качестве авторитетов ссылались на имена Штейна, Клаузевица и Йорка. Был озвучен страстный призыв сохранить армию, избежать нового Веймара и оставить все лозунги классовой войны, которые не касались изобличения и наказания военных преступников.

Довольно любопытным был тот факт, что русские продемонстрировали лучшее понимание этих требований, чем немецкие коммунисты из числа эмигрантов. В своем большинстве последние демонстрировали удивительное отсутствие понимания общего положения в Германии. В частности, в том, что касалось подлинной силы немецких подпольных рабочих партий, они находились во власти самых розовых иллюзий. Я лично читал заявление Димитрова, где говорилось, что гражданская война в Испании продемонстрировала неспособность армий фашистских государств вести широкомасштабные боевые действия. Якобы тогда солдаты этих армий выступили бы с оружием в руках против угнетателей и эксплуататоров в собственных

² Термин, употреблявшийся монархистами и крайними правыми сначала по отношению к революционерам 1918 г., социал-демократам и коммунистам, а позже – ко всем представителям республиканских партий.

странах. Такое предвзятое мнение основывалось на ложной концепции, популярной среди русских, о якобы сложившихся в немецкой армии отношениях между солдатами и офицерами. Эмигранты сильно недооценивали те значительные изменения, что произошли в общественной жизни Германии после 1918 и 1933 годов. Они не признавали, что Третий рейх довольно много перенял от социализма, что молодые офицеры проходили обучение не в закрытых учебных заведениях, а в школах немецкой молодежи и гитлерюгенде, а то, о чем так много говорили и что называлось классовой солидарностью трудящихся, в значительной мере было утрачено. Таким образом, в своих суждениях эти люди сами стали жертвами своей же пропаганды. Вместо того чтобы заниматься анализом фактов, как это делали их выдающиеся предшественники, они погрязли в прожектерстве и догматизме, искренне полагая, что подходят к фактам с марксистской точки зрения.

Именно поэтому участникам собраний пленных немецких офицеров в Оранках было забавно наблюдать за Ульбрихтом, который в манере старых ораторов-парламентаристов со своим саксонским акцентом начинал жонглировать общими фразами о Тиссене, Понзгене и Цангене, а также обо всех остальных «цепных псах монополистического капитализма». Он не мог себе представить, что даже при самом лояльном к нему отношении офицеры не смогли бы осознать, что он имел в виду под этой зажигательной фразой: для этого нужно было обладать знаниями в области марксизма, чем могли похвастать очень немногие. К тому же «беженцы» не могли понять, что у большинства немцев любое упоминание о Веймарской республике вызывает лишь негативную реакцию. Для большинства из них Веймар был символом слабости, общества без целей и смысла, без сил и краеугольных камней. И поэтому оно справедливо пришло к своему позорному, бесславному концу.

13 июля 1943 г.

Национальный комитет был наконец создан. Вчера и сегодня от трехсот до четырехсот человек собирались в здании Красногорского Совета, украшенного черными, белыми и красными флагами. Коммунисты-эмигранты из Москвы, члены антифашистского комитета, выбранные из военнопленных-слушателей школы антифашизма (точнее, антифашистской школы. – *Ред.*), «делегации» из лагерей для военнопленных, русские «повивальные бабки» комитета – профессор Арнольд, подполковник Янсон (руководитель антифашистской школы), майор Штерн и некоторые другие офицеры, избранные в политбюро, – здесь были все. Кроме того, там присутствовало некоторое количество симпатизирующих лиц из лагеря № 27, остатки той первой группы офицеров, которая столь позорно предпочла дать задний ход. Теперь их «усилили» за счет полковника фон Хоовена, офицера связи при штабе 6-й армии, полковника

Штейдле, члена организации католического действия, и майора фон Франкенберга, одного из самых опытных пилотов Германии, специалистов по полетам «по приборам».

После длинных приветственных речей нам наконец зачитали текст манифеста Национального комитета:

«МАНИФЕСТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ» К СОЛДАТАМ ВЕРМАХТА И НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ

Обстоятельства требуют, чтобы мы, немцы, немедленно принимали решение. Национальный комитет «Свободная Германия» создается в час, когда смертельная опасность нависла над самой Германией и над ее будущим. Рабочие и писатели, солдаты и офицеры, деятели профсоюза и политики, представители всех политических и идеологических взглядов, те, кто всего

год назад не мог даже представить себе возможность такого союза, сегодня объединились в Национальный комитет. Национальный комитет выражает мысли и волю миллионов немцев на фронте и в тылу, всех тех, кто озабочен судьбой отечества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.